ИВАН ШАМЯКИН

# Торговка и поэт





kamunikat
Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка

Иван Шамякин

# ТОРГОВКА И ПОЭТ

Повесть

Перевод Т. Шамякиной

# I

Отец Ольги был кожевником, из семьи потомственных минских кожевников, которые в давние времена выделывали кожи кустарно, а при советской власти работали на заводе.

Ольга в детстве не особенно любила отца, может, потому, что, когда он возвращался с работы, от него неприятно пахло; но боялась она отца меньше, чем матери: он никогда не ударил ее и даже ругал редко, вообще человек был мягкий, покладистый, не пил, как некоторые соседи, разве что в праздники или в гостях мог опрокинуть рюмку-другую, но всегда знал меру, пьяниц ненавидел, сына старшего невзлюбил, когда тот приохотился к проклятому зелью.

Михаила Леновича на Комаровке уважали, но считалось, что благосостояние семьи, даже значительный по тем временам достаток, вызывающий зависть соседей, держится не заработками кожевника, хотя мастер он хороший, а трудом и торговлей Леновичихи, известной тетки Христи, неизбранной, но общепризнанной старостихи всех комаровских торговок. Ее даже милиционеры боялись: друживших с ней она щедро угощала, тех же, кто стремился ущемить ее личные интересы или интересы всей «торговой корпорации», могла обесславить не на один рынок — на весь город.

Дом Леновичей в тихом переулке, очень грязном весной и осенью, выглядел не лучшим в этом районе стародавней частной застройки — обычный комаровский, почти сельский, деревянный дом. Однако дом этот ломился от добра: лучшая по тому времени мебель, ковры на стенах, одежда в трех огромных, как контейнеры, шкафах, различная посуда, швейная машина, два велосипеда, самовары... А сколько всего скрывалось в двух больших погребах и на чердаке! И все нажито Леновичихой, ее потом, мозолями, ее хваткой ловкой коммерсантки. «На заработки моего

старика с голоду пухли бы», — подвыпивши, хвалилась Христя соседкам, а выпивала она чаще мужа: то кого-то нужно было «подмазать», то согреться зимней и осенней порой, когда от холода пальцы деревенели и не могли покупателю отсчитывать на сдачу медяки. Но и трудилась она, как невольница, рабыня. От темна до темна. При доме был неплохой огород, соток двенадцать. Комаровские огороды вообще славились не только до войны, но долгое время и после войны, пока вместо деревянных хибар не выросли многоэтажные здания — новый город.

Хозяйство тетка Христя вела на уровне высших агрономических достижений. Мало кто тогда имел теплицы, а у нее они были. Самые ранние редиска и салат на рынке появлялись на прилавке Леновичихи, и клиенты у нее были постоянные, сам Якуб Колас покупал, чем она часто хвасталась. Она первой выносила на рынок и огурцы, картошку, помидоры, одного разве только не умела — чтобы яблоки созревали раньше, чем у других. Но не только на огороде копалась она и на рынке простаивала, призывая покупателей и расхваливая свой товар остроумнее всех, — на ее звонкий голос, шутки, веселый смех действительно шли охотно. Дома ее поджидала еще одна забота — живность. В хлеву, в загончиках, всегда хрюкали два кабанчика, побольше и поменьше, одного закалывали — на его место тут же покупался подсвинок, конвейер не прерывался. Кудахтали куры, сердито бормотали индюки, а позже, когда по радио начали агитировать колхозников заняться кролиководством, Леновичиха завела кроликов и скоро убедилась, что это действительно выгодное дело — животные быстро плодятся и быстро растут, хотя, правда, мясо кроличье покупали неохотно. «Некультурные вы люди», — говорила она тем, кто, бывало, скалил зубы: «А не коты ли это, тетка?» Иногда хлестала и пожестче: «А такого дурака только котятиной и кормить!» Потом она договорилась и сдавала кроликов в столовую на Пушкинской улице, откуда брала помои для свиней, — в столовке студенты все съедят. В те предвоенные годы не очень сытно было.

Детей Леновичиха любила и жалела по-своему — тем, что жила, работала для них, не для себя, сама только в праздники позволяла себе нарядиться так, чтобы соседки лопались от зависти, а в будни ничем не выделялась среди других комаровских баб. Для них, детей, старалась накопить как можно больше добра. Во всем остальном была безжалостна. Работать детей заставляла, как только они становились на ноги. Первое, что Ольга помнила из детства, — это как петух сбил ее с ног, когда она кормила кур. Сколько же ей было, что петух мог свалить? Может, годика три, не больше.

Детей было немного для такой семьи — всего трое; старшая дочь умерла от скарлатины, остались два парня и Ольга — самая младшая. Естественно, что старая Леновичиха больше любила единственную дочь. Но не баловала, — наоборот, Ольге доставалось, пожалуй, больше, чем мальцам, ведь те раньше вылетели из родного гнезда, а Ольгу, даже когда замуж вышла, не повезли в «чужую сторону» — зять пришел в дом примаком. До самого замужества дочери Леновичиха не стеснялась «погулять» по ней и розгой, и фартуком, и стеблем подсолнечника — что попадалось под руку, да и слова не подбирала, такое иногда «выдавала», что лошади на рынке краснели. Соседи слушали и смеялись: «Христя своих христит». Михаил уговаривал жену: «Людей постыдись!» Впрочем, поругав, Христина могла тут же с гордостью похвалиться дочерью: «Вся в меня, зараза». Для нее не дочь — сыновья оказались отрезанными ломтями. Она-то мечтала, что они останутся при хозяйстве и по-своему, по-мужски, продолжат ее дело, приумножат добро, накопленное ею для них каторжной работой. Нет, не прельстило их это. Правда, старший, Казимир, потянул свою долю из нажитого, да еще и недоволен остался. Леновичиха не могла ему простить, что женился на разведенке, в примаки к ней пошел на Грушевский поселок. А младший, Павел, тот вообще после седьмого класса подался в военное училище, в далекий Саратов уехал. Отцу это понравилось, но с мнением его мало кто считался, а она, мать, назвала

Павла дураком, на дорогу денег не дала. Отец втайне от жены собрал сына, проводил на вокзал. Но когда Павел через три года вернулся лейтенантом-артиллеристом, Леновичиха, нарядившись в лучшую одежду, с гордостью обошла вместе с сыном чуть ли не весь город — пусть смотрят люди! Даже в оперу пошла, где отродясь не бывала. По Комаровскому рынку в дни, когда гостил сын, ходила как богатая покупательница и только ловила то насмешливые, то завистливые улыбки подруг и рыночной прислуги.

Училась Ольга до седьмого класса неплохо, а в восьмом, когда засели в голове мысли о парнях, двойки начала приносить. Теперь Леновичихе хотелось, чтобы дочь пошла в науку, стала культурной. Времена менялись, дети многих комаровских старожилов оканчивали институты. Чем же ее дети хуже? Пыталась заставить Ольгу учиться — все той же розгой, отцовым ремнем. Не помогло. Ольга действительно упорством пошла в мать и после восьмого класса школу бросила. Год помогала матери торговать, потом пошла работать в трамвайное депо.

В восемнадцать лет Ольга вышла замуж за вожатого трамвая Адама Авсюка. Зять нравился старой Леновичихе, хотя и был голодранцем — пришел в дом с одним маленьким чемоданчиком. Но веселый, не гнушался никакой работы, даже не стеснялся продавать на рынке ощипанных кур, капусту, свинину. Было в его характере что-то от самой Леновичихи, потому и сошлись они. Только пьяный Адам делался дурным — лез в драку и не однажды возвращался домой с «фонарями». Старому Леновичу очень не нравилось, что вожатый трамвая напивается до бесчувствия. «Как ты завтра людей будешь возить? Еще зарежешь кого. Если бы я был вашим начальником, то и близко не подпускал бы таких к вагону».

И бывают же такие неожиданные, просто какие-то фатальные совпадения! В темное ноябрьское утро, когда выпал первый, мокрый снег, старый кожевник не смог втиснуться в переполненный трамвай, повис на

подножке, сорвался или, может, столкнули, попал под колеса, и ему отрезало ноги; на другой день он умер в больнице.

Вагон вел не Адам, но все равно среди комаровских обывателей, как круги по воде, пошли самые невероятные, дикие сплетни, дошли до Ольги, до самого Адама, до старой Леновичихи, всех их это больно ранило.

Кажется, без особой любви и привязанности жили Леновичи. Христя отзывалась о своем Михале с этакой скептической снисходительностью, очень редко советовалась с ним о своих делах. Дети признавали больше ее авторитет, отец всегда находился как бы в тени. А не стало его — осиротел дом и сама Леновичиха как-то сразу поблекла, осунулась, притихла, утратила интерес к нажитому — к никелированным кроватям, полированным шкафам, густо обсыпанным нафталином шубам. Одним еще только жила — нетерпеливым ожиданием будущего внука или внучки от Ольги. Детей Казимира от разведенки не любила, почему-то эти внуки казались ей чужими.

Но то, что после смерти мужа покинуло постаревшую мать, с молодой силой и энергией возродилось и крепло в Ольге. Работу в депо она бросила и почти целиком взяла на себя бывшие материнские обязанности. Разница, пожалуй, была только в одном: работала она не с такой одержимостью, как мать, умела всю черную работу на Адама взвалить. Но на рынке вела себя еще более умело, оборотисто и в то же время осторожно, с учетом изменившейся конъюнктуры: холодная и голодноватая зима 1939—1940 годов, когда шла финская война, — это не времена нэпа, во время которого разворачивала свою коммерцию ее еще молодая тогда, полная сил мать. Но и в тех не лучших рыночных условиях комаровские торговки быстро признали молодую Леновичиху своей заводилой. От матери и имя перешло к ней — Леновичиха, хотя и была она Авсюк. Молодая Леновичиха. А старая постепенно утрачивала это известное всей Комаровке имя, теперь

для соседей она была просто Христя или Крися, так некоторые сокращали ее имя на польский манер; Ленович считался католиком, но в костел никогда не ходил и венчался в церкви — Христина была из православной набожной семьи.

Внучки Христина не дождалась. Весной, когда начались работы на огороде, вышла она копать под грядки — беременной Ольге нельзя было, — да так и осела в борозду. Соседка через забор приметила неестественность ее позы. Подняла тревогу. Выбежала из дому Ольга, а мать уже мертвая. «Легкая смерть, — говорили на похоронах ее подруги, вытирая скупые слезы. — Где всю жизнь проработала, там и умерла — на земельке нашей комаровской».

В июле Ольга родила девочку и назвала ее Светланой, еще до рождения так решила, модным тогда было это имя. После появления ребенка сделалась Ольга еще более похожей на мать — одержимостью в работе, шумной энергией, настырностью, часто граничившей с наглостью, особенно там, где нужно было отстоять с в о е. О, за свое, за одно перышко лука она могла горло перегрызть. Авсюку, портрет которого висел в трамвайном парке на доске стахановцев, часто бывало неловко за жену, он пробовал укорять ее: «Оля, нехорошо так. Теперь люди этим не живут, не то время. Со мной Зенчик, секретарь наш партийный, говорил, чтобы я в партию готовился...»

Но и в этом, в отношении к мужу, она становилась похожей на мать. Там, на работе, в трамвайном парке, он, может, даже обязан работать по-стахановски, вступать в профсоюз, в партию — куда хочет, не отставать же от людей, а тут, дома, полновластная хозяйка она и поступать будет, как ей нравится, как она считает нужным для блага семьи, для дочери своей и будущих детей, поэтому лучше пусть он не мешает ей, если хочет, чтобы между ними было согласие. Так и сказала мужу, правда, не так грубо, как говорила когда-то мать отцу, более деликатно, даже ласково, но с твердостью не меньшей. А Адаму такой твердости не

хватало. Пьяный он еще мог замахнуться на жену, погрозить кулаком, даже поставить под глазом «фонарь», но трезвый потом просил прощения, часто на коленях. Кстати, это она, Ольга, заставила его еще при жизни матери на коленях поклясться, что пальцем ее никогда не тронет. Клятву свою он изредка нарушал, но знал уже, как замолить грех, — стать на колени и вновь клясться. Ольге такой «шпиктакль» нравился, особенно когда Адам проделывал это при ее ровесницах соседках или при своих друзьях трамвайщиках.

Месяца за полтора до начала войны Адама взяли на военные сборы, и Ольга осталась одна с дочкой, не очень горюя: на огороде все было посеяно, посажено, ей оставалось только выносить на рынок редиску, салат, лук. Работа не тяжелая, и время теплое, десятимесячную Светланку можно брать с собой; так часто и привозила в одной коляске ребенка и редиску и убеждалась, что малышка неплохо помогает в торговле: интеллигенты не пройдут мимо, чтобы не заинтересоваться хорошенькой розовощекой девочкой и ее не менее привлекательной мамашей, и покупают не торгуясь, платят, сколько скажешь, да еще, бывает, и сдачу не берут. Ольга никогда не обманывала покупателей, таково было завещание матери, но когда кто-то сам, засмотревшись на нее, становился щедрым, от копеек его не отказывалась, полагая, что интеллигентам деньги достаются даром: иной, кроме пера, тяжелее ничего в руки не берет или языком перед студентами потреплет — и ему сотни отваливают, а она всю весну лопату да мотыгу из рук не выпускала, с ребенком вынуждена на рынок ходить, за такой труд не грех и лишнюю копейку взять. Вообще самыми приятными покупателями были для нее интеллигентные мужчины, каждый из них вызывал ее интерес: что за человек? Где он работает? С ними она была весела, тактична. А вот женщин, по виду интеллигентных, не любила, считала, что они ничем не лучше ее самой, и злилась на их бережливость и скупость — иная за копейку полчаса будет торговаться; всегда отвечала им грубо, всем на «ты», а иногда не стеснялась и послать так, что соседки по прилавку

хватались за животы: «Во Леновичиха режет! Вся в мать!»

Война Ольгу не очень испугала, даже о муже и брате она подумала не сразу. В первую очередь вспомнила материнские рассказы, что во время войны сильно дорожают продукты. Прикидывала, какую цену брать, чтобы не продешевить, когда через неделю, в следующее воскресенье, вынесет на рынок первые, из теплицы, огурчики. Уверена была, что ее огурцы обязательно будут первыми на Комаровке, только около Червенского рынка живет дед, у которого такая же теплица, покойница мать конкурировала с тем дедом, но и училась у него.

Правда, на второй день войны, когда соседки проводили в военкомат мужей и сыновей, Ольга искренне поголосила вместе с ними: Адам ее и брат Павел, лейтенант, в армии и, может быть, уже на фронте, воюют.

Сильно испугалась она, когда Минск начали бомбить, — за дочь испугалась: куда прятаться с ней? Но, понаблюдав, где падают бомбы, — бомбят в первую очередь железную дорогу, штаб округа, центр города, учреждения, — рассудила, что и бомбы не так уж страшны: во дворе был хороший цементированный погреб, где на зиму прятали картошку, бочки с квашеной капустой, огурцами — для себя и на продажу, в погребе можно пересидеть бомбежки — не будет же война тянуться полгода, до холодов.

А дня через три она чуть ли не сама лезла под бомбы — от жадности своей.

Началось с того, что мальчишки закричали на всю улицу: «На Комаровке лавки разбивают!» — и побежали туда, на рынок, за ними бросились взрослые. Естественно, услышав такое сообщение, Ольга не могла усидеть дома. Отнесла малышку к соседке, хромой тетке Мариле, и кинулась туда лее, на рыночную площадь, которую окружали различные лавчонки, ларьки, лотки — «торговые точки», как их называли. Но

пока она добежала, уже все растащили, довершался разгром магазина хозяйственных товаров. Краснолицый, с неприятным, облупленным лицом мужчина, с которым Ольга не была знакома, но которого не один раз видела на рынке пьяным, вытянул целую гору чугунков, кастрюль, штук десять топоров, пилы, задвижки, лопаты и сторожил это добро, ожидая кого-то, кто, наверное, помог бы поднести. В самом магазине можно было подобрать разве что какую-то мелочь — недобитые лампы или тарелки. Сердясь на себя, что опоздала, проморгала более ценную добычу, и на всех уже тянувших отсюда — злодеи, грабители! — Ольга кинулась к мужчине, который вывалил полмагазина. В конце концов, в этом она находила и некоторое моральное оправдание себе: ведь была воспитана так, что никогда чужого не брала, — мол, не сама крала государственное имущество, а отняла у ворюги.

— А ну, морда, поделись с людьми! — сказала она мужчине и тут же начала откладывать в сторону свою часть.

— Пошла ты!.. Не тронь!

Но она послала его еще дальше.

— Ты со мной, паразит, не заедайся. Ты меня знаешь. У меня тут вся милиция своя, а тебя, видела, милиция под ручки водила.

— Кончилась твоя милиция. Пятки подмазала. Догоняй под Москвой.

Ольгу ошеломило это и испугало больше, чем бомбы. На какое-то мгновение она смутилась, готовая отступить. Но тотчас подумала, что если в самом деле и милиции уже нет, власти то есть, в дураках же она останется, когда из-за честности своей ворон будет ловить в то время, как другие наживаются. Со школьной скамьи знала, что все добро — народное. А раз народное, рассудила она, то, значит, и ее. Разве она не народ? Разве мало потрудились отец ее, муж, братья? Да и

сама она не барыней по Минску ходила. Не отдавать же все вот такому лодырю и пьянчуге, как этот красномордый. Мародер, видно, и в самом деле хорошо знал молодую Леновичиху, потому что хотя и матерился страшно, и обещал перебить ей ноги, но вынужден был уступить какую-то часть своей нелепой добычи. В конце концов, десять лопат или дюжина чугунков и правда на черта ему...

Ольга отнесла этот железный клад домой и тут же, попросив соседку присмотреть за дочкой еще какое-то время, кинулась промышлять дальше. Не упустить бы момент! Она и так, кажется, уже многое проворонила, прячась от бомб в погребе.

Выбежала на Советскую улицу — только там, на центральной магистрали, можно узнать, что же творится в городе. После утренней бомбежки в центре и около вокзала полыхали пожары. Милиции и впрямь не было видно. Прошла военная часть, какой-то полк, солдаты, усталые, запыленные, некоторые с окровавленными повязками на головах, на руках. Неужели оставляют город? Слухи о наступлении немцев ходили самые невероятные и противоречивые: одни говорили, что немцы уже под Минском, другие — что обошли Минск, заняли Борисов, а Ольгина школьная подруга, работница типографии имени Сталина Лена Боровская, горячо доказывала, что все сплетни о разгроме Красной Армии под Гродно и Барановичами распускают фашистские шпионы. Но что нашим приходится туго, это, пожалуй, и из передач по радио можно понять: не говорят, что наши наступают — только ведут упорные бои. Откуда же идет полк? Боя за Минск не слышно, одни бомбежки беспощадные, да прошлой ночью стреляли из пистолетов и винтовок где-то на Болотной станции.

Красноармейцев Ольга пожалела. И женщин, которые испуганно уходили с детьми, с узлами, своих нелюбимых покупательниц, тоже пожалела. А вот к сидевшим в трех легковых машинах, что промчались мимо, почувствовала злость.

— Драпают начальнички, — злорадно сказал какой-то мужчина, стоявший рядом с Ольгой в подъезде шестиэтажного Дома коммуны, и подчеркнуто издевательски пропел: — «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим...»

Ольга засмеялась и по-мальчишески, чего не делала со школьных лет, свистнула вслед легковушкам. Но когда этот лысоватый, хотя и нестарый еще тип, аккуратно побритый, наодеколоненный, в чистой, вышитой васильками рубашке, почувствовав, очевидно, в ней единомышленницу, попробовал доверительно заговорить, Ольга ответила ему так, что его поблекшие глаза на лоб полезли.

Она смотрела на беженцев, некоторые — видно было по ним — шли издалека, и злость ее на тех, кто уезжал на машинах, росла. Вместе с ней, со злостью этой, пробуждалась какая-то дикая сила, росло бешеное желание, которого прежде никогда не возникало, — ломать, крушить, разбивать, жечь все, что оставалось, делалось ничейным. Но даже это Ольга постаралась направить на свое, себе выгодное — стала убеждать себя, что раз те, кто имел власть, убегают, а она никуда удирать не собирается, потому что некуда ей уходить, то хозяйка тут она и все добро принадлежит теперь ей. Уверенная, что не одна она такая умная, другие тоже не дураки, так же рассудят, кинулась искать, где и чем можно поживиться. И быстро нашла. На улице Куйбышева грабили гастроном, правда, несмело еще — вырвали решетку и выставили окна со двора; молодые мужчины, среди которых она узнала одного своего, комаровского, подавали друг другу ящики с водкой и вином. Женщин, видно жительниц дома, не подпускали, те хватали по бутылке из вынесенных ящиков. Но Ольга смело влезла в магазин через то же окно. Грабители, хозяйничавшие там, растерялись от такой ее смелости, хоть и глотнули уже из бутылок. Но тот, знакомый, с Комаровки, крикнул им:

— Это же Леновичиха!

Имя как бы все разъяснило, и ее не только тут же

приняли, но считали уже, пожалуй, заводилой; арестуй их в тот момент милиция, непременно все эти «смельчаки» показали бы на нее: она первая! Ольга почувствовала это, поняла и ни в какой шайке-лейке быть не желала, ненавидела пьяные морды, презирала их, считала бандюгами, которым лишь бы водки налакаться, А себя оправдывала тем, что берет не для пьянства, не для забавы — кормить ребенка, кормиться самой. Иначе кто же теперь о ней позаботится, когда муж воюет, брат воюет? Впрочем, опыт коммерсантки подсказывал, что в будущем очень ценным продуктом станет именно эта мерзкая горькая, проклинаемая многими женщинами, Поэтому, как это делали и мужчины, она в первую очередь схватила ящик водки, вскинула на плечо. А в магазин через разбитую витрину уже лезли женщины, дети, и Ольга поняла, что, пока она отнесет водку домой и вернется назад, в гастрономе ничего не останется. А тут ведь и еще кое-что есть! Попробовала на другое плечо взвалить ящик рыбных консервов, но почувствовала, что два ящика не донесет. Попался на глаза неполный мешок макарон — удобней нести. Нет, мало. Конфеты! Остаются конфеты. Насовала конфет всюду, откуда они не могли высыпаться, даже в рукава, в рейтузы. Семь потов пролила, пока дотянула все домой по июньской жаре. И сразу же бросилась назад.

В гастрономе были уже выбиты двери, но женщины расходились с пустыми руками. Ольга вбежала в магазин, не очень задумываясь, почему люди так странно ведут себя, и... увидела милиционеров. Испугалась. Вот те и нет власти! Их было двое, милиционеров. Старшина стоял перед пьяными грабителями и, сжимая в опущенной руке наган, спокойно, устало просил:

— Граждане! Прошу — разойдитесь. Буду стрелять. Ей-богу, буду стрелять...

Мужчины, несмотря на хмель, револьвера испугались, сбились в кучу, как телята, матерились, давили сапогами витринное стекло. Не выходили, видимо,

опасаясь поворачиваться спиной к оружию. Но именно неуверенность хранителей порядка вновь возмутила Ольгу: ведь власть рушится, так какого дьявола два дурака разводят тут антимонии! И она бросилась вперед, закрывая собой грабителей, рванула кофточку, специальную, на кнопках, чтобы удобнее было кормить дитя, и кофточка расстегнулась, обнажив полные груди.

— На, стреляй, убивай своих, падла ты! Начальнички твои пятки подмазали, а тебя, дурака, оставили стеречь добро. Для кого? Для немцев? Для Гитлера? А не шпион ли это переодетый?

Подбодренная пьяная компания с возмущением загудела.

— А ну, поговори, поговори, зараза! Заучил одно: «Буду стрелять...» Я тебе стрельну! Маму родную забудешь!

Побледневший старшина начал отступать ближе к дверям, которые выходили во двор, а товарищ его, так и не доставший из кобуры наган, сморщился, бросил с горечью:

— Застегнись, дура, — и вышел на улицу.

Не обращая внимания на милиционера и на осмелевшую благодаря ее выпаду пьяную компанию, Ольга подошла к прилавку, взвалила на плечи брошенный кем-то ящик с консервами да еще прихватила плетеную бутыль с растительным маслом.

Вышла уверенно и так же уверенно, твердо пошла дальше, но на улице вдруг показалось, что дуло револьвера нацелено ей в затылок. По спине заструился ледяной пот, онемели ноги. Чувствовала, что, если обернется, с ней случится что-то страшнее, позорное. Как в кошмарном сне, до сознания вдруг долетели голоса женщин, на которых она боялась глянуть:

— Одним можно, другим нельзя. Одна шайка. Спекулянтка эта давно с милицией снюхалась. Ишь сиськи показывает, бесстыдница!

Оглянулась она только в безлюдном переулке. Никто за ней не шел, лишь навстречу пробежала бабка, спросила удивленно, как спрашивали до войны:

— Где дают?

Ольга опустилась на песок, села, как курица, нехорошо засмеялась. Хотела крикнуть женщине, пробежавшей мимо: «Беги, беги, старая раззява, дадут тебе фигу!» — но силы хватило только на то, чтобы с песка пересесть на ящик, закрыть его юбкой. Слова застряли, слиплись в пересохшем горле. Не сразу сообразила, почему так безлюдно вокруг, пока над головой не заревели самолеты. Они шли очень низко, черные, с желтыми крестами на крыльях, точно драконы из страшной сказки или сна. Ольга сжалась, втянула голову в плечи, с ужасом ожидая, что вот-вот посыплются бомбы. Но прятаться не бросилась — бежать надо было в чужой двор. С такой добычей — в чужой двор? Перед теми, кто грабил вместе с ней, перед милиционерами стыдно не было, а вот перед людьми, которые прячутся где-то на своих огородах от бомбежки, она не могла явиться с награбленным — им же объяснять все придется. О том, чтобы бросить ящик и бутыль на улице и скрыться самой, даже и не подумала. Самолеты прошли быстро и сбросили бомбы где-то за городом, — по-видимому, на военный городок или радиостанцию.

Первые дни небо укрывали разрывы зениток, это успокаивало — их, горожан, защищают. Сейчас не отозвалась ни одна зенитка, город точно замер. Ольга впервые почувствовала приближение чего-то страшного.

Ноша ее стала такой тяжелой, что Ольга едва дотащилась с нею домой. И сразу же схватила на руки Светлану, прижала к груди, целовала со слезами радости и умиления пухленькие щечки, ручки, ножки. Малышка весело смеялась, радуясь материнским ласкам, и на своем смешном детском языке жаловалась на бабушку за то, что та носила ее в темный и сырой погреб. А тетка Мариля, прожившая в бедности, но имевшая свои радости, поняла, почему Ольга так

набросилась на ребенка и что она могла пережить в магазине или под бомбежкой, — из погреба не очень разберешь, где бомбили, далеко или близко, Сказала, кивнув на консервы, то, о чем думала Ольга там, в переулке, когда над головой летели самолеты:

— Осиротишь ты ребенка из-за своей жадности. Что я буду делать с ним?

— Не пойду больше, тетка Мариля. Не пойду, — поклялась Ольга. — Пусть оно пропадет все пропадом. Такого страха натерпелась. Там дурак милиционер стрелял. — Теперь уже казалось, что милиционер действительно стрелял. — А потом самолеты... так низко летели, что чуть за трубы не задевали. Где наши зенитки? Где наше войско?

Слух, что Леновичиха таскает в дом награбленное добро, быстро разлетелся по улице. Одни позавидовали ее проворству: «Вот баба, нигде не растеряется — ни на войне, ни в пекле». Другие осудили: «Ненасытная! На войне и то нажиться хочет. Ой, вылезет ей все это боком!»

Пришла Лена Боровская, по-дружески упрекнула:

— Олька! Что это ты делаешь, дуреха? Да ты знаешь, что по военным законам за это расстрел? Во все времена за мародерство расстреливали.

Ольгу, которая только что клялась тетке Мариле и себе, что никуда больше не пойдет, пусть там хоть золото лежит, слова подруги вдруг опять разозлили.

— Кто это меня расстреляет? Ты?

— Не я. Власть советская. Армия.

— Где она, твоя власть? Наплевать ей на нас с тобой! Это только такие дуры, как ты, комсомолки, пели, что разобьем врага на его земле! Разбили? Дойдем до Берлина! Дошли? Армия меня расстреляет? Нет, армии не до меня! Пусть армия немцев остановит, тогда я грабить не буду! А так иди послушай: люди говорят,

немцы не сегодня, так завтра Минск займут... Для кого же вы добро стережете?

— Какие люди? Шпионы? Паникеры? Кого ты слушаешь, Ольга? — Лене до слез стало обидно и страшно. Что же это происходит? Отчего столько злости у ее школьной подруги, когда-то веселой девчонки, хохотушки? С кем же она дружила? С врагами? С кулаками? Не случайно они торговлей занимались. Ишь ощерилась, как тигрица, даже побелела от злобы.

— Не захватят немцы Минска! Не дойдут! — закричала Лена с отчаянной убежденностью. — Руки коротки!

— Ох, длинные у них руки, Леночка! Да не в погребе ли ты сидишь все время? Ничего не слышишь, ничего не видишь...

— Да уж не бегаю магазины грабить.

— А ты меня не упрекай! Не упрекай! Я о ребенке своем думаю. Ты о нем не подумаешь! И начальники твои, которые драпают, не подумают.

Поссорились они шумно, по-бабьи. Ольга ругалась грубо, материлась, к чему Лена не привыкла, хотя и жила на Комаровке. Выбежав на улицу, она, как маленькая, заплакала навзрыд. Но и у Ольги было не легче на душе. «Завела» ее Лена, растравила свежие раны, она еще больше рассердилась, а на кого — сама не понимала: на Гитлера, на нашу армию, на Лену, а может, на самое себя — за свой страх и отчаяние? Но страх постепенно отступил, и вновь появилась шальная смелость, азарт охотника на дикого зверя, желание рискнуть еще разок. Опять не сиделось дома, неизвестная сила, какой-то душевный протест, а может, просто жадность, за которую люди упрекали еще ее мать, тянули на улицу, на поиски брошенного добра и новостей.

Под вечер, после грозового дождя, она опять вышла за добычей. Шла, как кошка, которая знает, чувствует, что рядом собаки. И вокруг все насторожилось, даже небо,

затянутое облаками и дымом от притушенных июньским дождем пожаров. Отвратительно пахло какой-то гарью, будто горел скот или склад шерсти. И дым этот не поднимался вверх, а стлался по земле, по улицам и переулкам. Город притаился, обезлюдел, редко появлялся такой же, как она, настороженно-испуганный прохожий. Даже на Советской и Пушкинской, где никогда не останавливалось движение, где с началом войны все гудело и дрожало от танков и грузовиков, теперь не было ни машин, ни людей. Гул стоял где-то далеко за городом, на Логойском тракте, будто опять приближалась гроза. Не знала Ольга, что не на западе, не под Дзержинском или Раковом, а на севере, под Острошицким городком, шел последний тяжелый бой за Минск, бойцы и командиры Сотой дивизии преграждали дорогу немецкой танковой колонне, рвавшейся на Московское шоссе, чтобы замкнуть кольцо вокруг города.

Опустевшие улицы пугали Ольгу, и она готова была уже вернуться домой. Но подбодрили ее дети, мальчишки: в песчаном переулке за католическим кладбищем они сооружали на дождевом ручейке плотину, старались остановить напор быстрой воды, стекавшей с Долгобродской улицы. Все это говорило о том, что жизнь идет и ничто не может ее остановить — в это Ольга твердо верила. А значит, и самой нужно жить, растить дочь. Для этого необходимо иметь хлеб или на хлеб. Только подумала о хлебе — и он тут же возник перед глазами. Не воображаемый, настоящий. Двое, мужчина и женщина, тянули тачку, на ней — мешки с мукой, да не с ржаной, с белой, пшеничной: видно было по тому, как эти двое запылились, будто мельники, — так пылит только мука тонкого помола. Ольга сразу же бросилась к ним:

— Откуда?

Они не таились, ответили просто:

— С хлебозавода. Спеши, — может, захватишь.

Ольга тут же забыла обо всех опасностях, какие могли

подстерегать в обезлюдевшем городе, не устрашилась даже хорошо слышной артиллерийской канонады где-то со стороны Жданович.

Ворота на завод были раскрыты. В цехах с мертво застывшими печами, мешалками, конвейерами, с широко распахнутыми дверями и окнами Ольге сделалось не просто страшно — жутко. На улице играли дети, а тут дохнуло самым страшным, что несла война: замерла основа жизни — остановилась выпечка хлеба. Пахло мукой, кислым тестом, печи были еще горячие, пахло хлебом, но хлеба не было, валялось только несколько буханок, кощунственно втоптанных Сапогами в пыль и грязь. И нигде — ни живой души. Ольга подобрала две такие буханки, сдула с них песок, вытерла платком. Цену хлеба в свои двадцать лет сна знала хорошо, хотя и не помнила, чтобы в их доме когда-нибудь не было на столе краюшки, далее в начале тридцатых годов, когда ввели карточки. Отец получал карточки на заводе, а мать добывала хлеб из травы, как она иногда шутила, вынося овощи на рынок.

С этими буханками Ольга намеревалась кинуться назад, потому что было здесь действительно жутко, среди кафельной и мучной белизны, загрязненной множеством людей, видимо, недавно, после дождя уже, побывавших тут. Как можно опоганить таксе святое место! Но вдруг она услышала приглушенный гул толпы где-то во дворе и, подбодренная присутствием людей, побежала туда. В дальнем углу двора, около склада, стояли люди, стояли почти тихо, в очереди; склад не разворовывался — хлеб раздавали четверо мужчин, из них двое в красноармейской форме. И это как-то сразу успокоило Ольгу и даже погасило ее злость на власти, ибо двое в гражданском по всему выглядели начальниками. Давали на человека мешок, не больше. Когда какой-то мужчина начал требовать больше, военный соскочил с площадки вниз и повел его в сторонку, к ограде. Люди притихли, ожидая, что того расстреляют. А Ольге хотелось кинуться на выручку. Разве можно молча смотреть, как убивают человека! Кто имеет право убивать за то, что человек попросил

хлеба? Но военный вскинул винтовку на плечо и просто, даже весело, дал жадюге коленкой под зад. Толпа засмеялась, видно было, что люди все больше проникались уважением и доверием к тем, кто раздавал муку. Когда подошла Ольгина очередь, она все еще держала в руках, прижимая к груди, помятые буханки, и поэтому полный начальник удивленно посмотрел с высоты на ее занятые руки и спросил:

— Донесешь?

— Кто это хлеба не донесет! — ответила Ольга.

— Это правда, — согласился он и сам ловко перекинул тяжелый мешок на край разгрузочно-погрузочной бетонной площадки.

Ольга зажала буханки под мышкой, повернулась спиной и, схватив зашитый мешок за «рог», легко вскинула его на плечо. И легко пошла.

По дороге несколько человек спрашивали у нее так же, как спросила она у тех, что везли мешки на тачке: «Откуда?» Ей сказали правду, она правды никому не сказала, потому что решила вернуться назад. Чего же звонить? Чтобы туда сбежалось полгорода? Такая новость разлетится быстрее, чем по радио, быстрее воздушной тревоги. Ей захотелось, чтобы началась тревога, заревели сирены, чтобы никто не вылезал из бомбоубежищ, из погребов, чтобы даже те, около склада, разбежались: тогда там могла бы остаться мука только для нее, а так растащат, живодеры, — те, с тачкой, вон целых два мешка везли. Разве не вернутся еще раз?

Мешок был все же тяжелый, не по ее женской силе. Сбросив его дома, Ольга обессиленно повалилась на кровать и несколько минут лежала неподвижно, даже к дочке не кинулась, как обычно, хотя малышка звала ее, тянулась ручками. Не видела Ольга, как тетка Мариля, глядя на нее, укоризненно качала головой, но уже ничего не говорила, поняла, что упрекать Леновичиху — напрасно тратить слова.

Но лежать не было времени. Вскочила, бросилась к клети. Там стояла тачка на резиновом ходу, сделанная когда-то еще отцом, чтобы матери было легче возить на рынок зелень, картошку и мясо заколотых кабанчиков. Прихватила дерюгу — накрыть добытое, чтобы не каждому бросалось в глаза, что она везет.

Проходя с тачкой мимо дома Боровских, Ольга вспомнила свою утреннюю ссору с Леной, почувствовала вину перед ней и неловкость за свою скаредность: никому из соседей про муку не сказала, а им же тоже есть надо, у многих не по одному ребенку и отцы в армии. Рассудила, что кричать о муке на всю Комаровку — дурой надо быть, но Лене стоит сказать и таким образом помириться с подругой: пусть знает, что она, Ольга, не злопамятная, а заодно и оправдаться перед своей совестью — не одна пользовалась, другим сказала.

Забежала во двор, в дом не вошла, полезла в куст сирени, осыпавший ее буйной росой, добралась до окна. Постучала. Выглянула старая Боровская.

— Лену!

Лена вышла заплаканная, с красными глазами.

— Чего ты ревешь? Что случилось?

— Боже мой! Ты не знаешь, что случилось? «Вспомнила комсомолка бога», — с иронией подумала Ольга.

— На хлебозаводе муку раздают. Пойдем. Не лови ворон. Свои же раздают.

Лена как-то странно вздрогнула от этой новости, будто испугалась очень, и глянула так, что Ольге на миг сделалось нехорошо, какую-то вину свою почувствовала, в этом крушении привычной для Лены жизни. Но тут же разозлилась на себя. А ее жизнь разве не рушится?

— Не пойдешь? Дура! Ну и реви о своих партийцах! Они о тебе не подумают, — и даже плюнула со злости в

сирень, роса на которой загорелась каплями крови в лучах вечернего солнца, вдруг пробившегося через тучи и дым.

...Канонада, грохотавшая где-то у Заславля, стихла. Только со стороны Логойска все еще слышался странный гул, приглушенно-тревожный, точно лесной пожар.

Народу на улицах стало больше, чем два часа назад, и все куда-то спешили, при этом как бы таясь друг от друга. На Горьковской мимо Ольги промчались три всадника в казацких бушлатах. Один из них развернул коня и направил прямо на нее. Она испугалась, но казак крикнул:

— На Московское шоссе не ходи! На Могилевское... на Могилевское пробивайся! — и помчался догонять товарищей.

Ольгу тронула забота красноармейца, дрогнуло сердце, заболело, натруженное, сдавило горло: свои, родные отступают. Но через минуту мысли приняли другое направление: подумалось, что всадник посчитал ее беженкой. Ругала себя. Как это она раньше не додумалась пойти с тачкой? Сколько можно было взять в гастрономе! Покрыть дерюжкой, запылиться... Никто бы не остановил беженку, не стал бы проверять, что в тачке.

Муку, конечно, раздали без нее. Но несколько мужчин и женщин все еще шныряли по складам, по цехам, по остывшим печам. Какая-то старуха нагребла два красных пожарных ведра прокисшего теста. Тесто Ольгу на соблазнило — на день-два поросенку, стоит ли из-за этого рисковать?

Мужчины разбили ящик с сухими дрожжами. И бросили. Дрожжи мужчин не интересовали, они не понимали их ценности. Ольга подождала, пока они разойдутся, и собрала дрожжи. Потом в углу цеха нашла соль, высыпанную из разорванных мешков, смешанную с грязью. Вспомнила: когда два года назад

начался поход в Западную Белоруссию, мать ее и все комаровские в первую очередь покупали соль, мешками таскали. Соли у нее дома был порядочный запас, но все равно упорно ползала на коленках и собирала соль пригоршнями, пока не испугала ее, да и всех остальных пулеметная очередь. Стреляли где-то близко — уж не в Веселовке ли? Некоторые и пожитки свои бросили. Ольга не бросила. Бегом катила тачку с солью и дрожжами. Но уже у самого дома ее ограбили трое франтоватых бандитов. Хорошо одетые, в черных костюмах, даже культурно говорили, не матерились. Но когда она попробовала по-бабьи запричитать, один показал револьвер и пригрозил:

— Молчи, а то разложим под забором. Больше потеряешь. Скажи спасибо, что времени нет.

При всей своей смелости и бесшабашности она со школьных лет больше всего боялась насилия, смерти так не боялась, как позора. Спросила примирительно:

— Да зачем же вам соль с песком да дрожжи?

— Нам все пригодится, — сказали бандиты и покатили тачку не в тихий переулок, не во двор, а на Советскую улицу. Выходит, никого и ничего не боялись.

Произошло это, когда не совсем еще стемнело, из окон наверняка смотрели люди. Но Ольга и не надеялась, что кто-то выйдет защитить ее. Защитить мог только тот казак, который позаботился о ее пути. А что же будет ночью? Впервые подумала, как страшно, когда город и люди остаются без власти, некому будет пожаловаться, не у кого искать защиты.

На другой день Ольга узнала, что в Минск вступили немцы. И недели не прошло, как началась война. Она не понимала, что случилось. От этого становилось страшно не только за себя, за своего ребенка, но и за что-то значительно большее, — возможно, за всю страну или за саму жизнь. Однако чувство это было еще довольно смутным, неопределенным, осмыслить всего она не умела. Представления о происходящем в стране,

на фронте, в мире были у нее примитивные, комаровские. Как обороняли Минск наши войска и как захватили город гитлеровцы, она тоже не знала. Вчера ее испугало безвластие, поэтому хотелось, чтобы какая-то власть, порядок были, и вместе с тем не оставляла мысль, что было бы недурно в шуме и суматохе добраться еще до какого-нибудь склада или гастронома.

От матери, от отца, от соседей — в дни ее детства это было главной темой у собравшихся посудачить комаровцев — она слушала рассказы, как в ту войну (войны империалистическая и гражданская в ее представления сливались в одну войну) Минск занимали немцы, потом белополяки. Были насилия, издевательства, расстрелы, но из рассказов неизменно вытекало: простой народ все может пережить. Потому и теперь у нее не угасала молодая, может, даже легкомысленная вера, что она, Леновичиха, как и мать ее, со своей хваткой и изворотливостью тоже все переживет — и немцев, и черта лысого. И перехитрит всех.

Конечно, в первый день было страшно: какие они, немцы, и как ведут себя?

В жаркий июньский день комаровцы не выходили из домов или, во всяком случае, из своих крепостей — дворов и огородов, тихонько переговаривались через плетни. Выжидали. Ольга тоже не отваживалась выходить.

Немцы появились в полдень: проехали мотоциклисты в зеленых касках, с закатанными рукавами, с автоматами на шее. Ехали тихо, даже пыль не подняли. В конце улицы дали очередь из автомата. Это испугало. Но быстро через ограды дошло известие: стреляли по курам, копошившимся в песке. Новость эту комаровцы передавали друг другу весело, будто чему-то радуясь. Ольгу это тоже развеселило и успокоило. Правда, ночь потом была неспокойная, более тревожная, чем ночи перед вступлением немцев: несколько раз где-то совсем близко, тут, на Комаровке, слышалась стрельба, а под утро загорелся завод «Ударник». Это ведь рядом, и все

не спали, сидели с ведрами коды, следили за головешками и искрами, боялись, что пожар может уничтожить весь их деревянный район. И не потушишь — пожарная не приедет. Но не зря молились старики, бог был милостив к Комаровке.

Днем снова было тихо. Появилась новая власть — полицейский с черной повязкой на рукаве светлого гражданского костюма. Прошел, как на похоронах. И повесил распоряжение, в котором на белорусском языке, несколько выхолощенном, казенном, немецкие власти гарантировали жителям безопасность, разные права, но приказывали сдать оружие, радиоприемники, автомашины, мотоциклы и вернуться всем на места своей работы и попутно, будто между прочим, предупреждали: в случае неповиновения — расстрел. «Все равно что «за нарушение — штраф», — подумала Ольга, вспомнив рыночные объявления.

В другие параграфы она вчитывалась не очень внимательно, но один запомнила — давалось право на торговлю. И она решила использовать это право — не из жадности, знала, понимала — заработает она в это время как Заблоцкий на мыле, — но, из интереса, хотела быстрее разузнать, что и как, какая она, новая власть.

Нарвала луку, редиски, салата, нарезала гладиолусов и пионов и... пошла на рынок, правда, едва преодолевая страх. Шла и ноги дрожали. Соседи, не отходившие в этот день от окон и щелей в заборах, очень удивились, когда увидели ее с корзиной зелени, с цветами. Передавали через заборы эту новость так же, как то, что немцы вступили в Минск: «Леновичиха на базар пошла!» Одни хвалили ее за смелость. Другие бранились: «Курва! К фашистам подлизаться хочет. Ишь ты, цветочки понесла! Дать бы хороших розог по толстой...» — «Таким не дают... Такие всегда, как дерьмо, наверху, при любой власти...»

Ольга пришла на рынок и... с разочарованием убедилась: не она первая, на пустой рыночной площади уже было несколько человек. И что особенно удивило —

не ее давние приятельницы, а люди, которые при Советах ничем не торговали, но большинство из которых были ей известны — здешние, комаровские, часто шлялись по рынку, по лавкам. Людей этих она вмиг возненавидела — и не как своих конкурентов, а как тайных врагов, за то, что тогда они сидели тихо, а сейчас вылезли первыми. Иное дело, она сама — какая была, такой и осталась, как торговала в прошлое воскресенье, в день начала войны, так торгует и теперь, когда весь свет, как сказала тетка Мариля, перевернулся вверх ногами. И они, клопы эти, что повылезали из щелей, потянулись к ней, потому что признавали ее рыночный авторитет. От них она услышала: можно хорошо поживиться в квартирах партийцев, убежавших из города, немцы, мол, глядят на это сквозь пальцы. Обо всем знал седенький дедок, одетый в чистенький полотняный костюм, и его не то дочь, не то невестка, худая, как щука, баба лет под сорок. Они принесли на продажу красивые цветы, у Леновичей никогда такие не росли, мать Ольги все умела выращивать, цветы не умела.

Ольга когда-то слышала, кажется, от отца, что дедок этот из немцев. Она догадалась, что сами они, эти обрусевшие немцы, боятся пойти шнырять по квартирам, потому и хотят подстрекнуть ее, пусть она получит немецкую пулю. Закипела против них гневом, но смолчала, понимая, что с такими лучше не заедаться теперь.

Покупателей, конечно, не было. Какому дураку придет в голову пойти на рынок в такое время! Люди по улице боятся ходить. Но Ольга все-таки дождалась тех, кого ждала со страхом и любопытством, — немцев. Их пришло сразу шестеро в незнакомой черной форме, потом Ольга узнала, что это военная жандармерия, эсэсовцы. Они сразу окружили прилавок, за которым разместились первые торговцы. Седой иконоподобный дедок заговорил по-немецки — вероятно, приветствовал их — и подарил высокому, в фуражке с кокардой, по всему видно, офицеру, цветы. Двое подошли к Ольге. Похвалили:

— Хандаль? Гут!

Ольга через силу улыбнулась — выжала из себя эту улыбку. Один немец белым платочком вытер редиску и вкусно захрустел. Другой оглядел не редиску — ее, Ольгу, оглядел оскорбительно, как цыган кобылу, которую хочет купить, кажется, вот-вот схватит за храп и заставит оскалить зубы, чтобы посчитать года. Тот, кто хрустел редиской, снова похвалил:

— Гут!

Другой засмеялся и, наверно, сказал, что не редиска гут, а фрау гут, потому что слегка похлопал Ольгу по щеке, потом по плечу, если бы не прилавок, то, наверное, похлопал бы и ниже, по мягкому месту. Если бы это сделал кто-то из своих, пусть хоть сам генерал, какую оплеуху он бы заработал! Ольга могла пошутить, бывало, на вечеринках разрешала знакомому парню обнять себя, за что Адам не однажды ревновал. Но чтобы кто-то ее хлопал, как кобылицу по крупу... Ну, нет!

Подошел офицер и сказал что-то строгое, потому что солдат положил редиску назад и отступил. За офицером подбежал иконный дедок. Перевел:

— Господин офицер хотел бы, чтобы пани подарила ему цветы.

— Господин офицер может купить, господин богатый, а пани бедная, ей детей кормить надо, — серьезно, без улыбки, сказала Ольга.

Дедок вылупил глаза, не сразу отваживаясь перевести ее слова. Но офицер так глянул на фольксдойча, что тот понял: приказывают переводить точно. Офицеру, видимо, показалось, что молодая русская сказала что-то оскорбительное для великой Германии или фюрера. Дедок перевел, и офицер весело засмеялся. Потом сказал что-то солдатам. И тогда тот, кто грыз редиску, сгреб и редиску, и лук, а второй, кто трепал по щеке, — цветы.

«Ну и гады, злодеи, разбойники!» — подумала Ольга, но решила смолчать, утешившись тем, что хотя они и грабители, но не такие страшные, как говорили про них в первые дни войны, жить можно.

Впрочем, офицер не торопясь достал кошелек и дал ей бумажку — чужие деньги.

Дедок будто на небо взлетел, кажется, даже нимб засиял вокруг его головы.

— Господин офицер щедро заплатил пани. Пани должна благодарить.

— Спасибо, — коротко сказала Ольга.

Это с,спасибо» старик перевел чуть ли не двадцатью словами льстиво заглядывая офицеру в глаза.

Когда гитлеровцы пошли, он сказал с восторгом:

— Вот они, немцы! Культура!

«В чем же эта культура? — подумала Ольга. — Пошел ты, старая падла!» Но хлестнуть сильным словцом этого прихвостня, как хлестала таких раньше, побоялась.

По дороге домой бумажка в десять оккупационных марок — совсем мизерная плата, как она узнала потом, — жгла ладонь; за пазуху, куда всегда клала деньги, ее не положила, это было бы как прикосновение к ее груди лапы чужого солдата. Хотелось швырнуть бумажку, втоптать в песок или в засохшую после позавчерашнего дождя грязь. Но, воспитанная в бережливости, сдержалась: теперь это деньги, их нужно знать, к ним нужно привыкнуть. Однако весь тот день на душе было погано от этой первой встречи с оккупантами, от своей, казалось, удачной торговли, будто продала не лук, а совесть. Не покидало чувство, что кого-то или что-то предала, но ясно определить это чувство не умела. Поэтому злилась. От злости она всегда, еще с детства, делалась отчаянной, бешеной. Вспомнила слова дедка, что можно поживиться в опустевших квартирах, и не столько из жадности, сколько из непонятного протеста

решила рискнуть еще раз.

Первую вылазку совершила в дом, где жили офицеры штаба округа, рассудив, что семьи военных наверняка уехали. В доме, видно было, похозяйничали до нее, но и она еще навытягивала из комодов немало постельного белья, детской одежды, вилок, ложек — ничем не брезговала.

Выходя из квартиры на третьем этаже, встретила на лестнице немцев, четверых немолодых уже тыловиков, видимо, квартирьеров, — они заглядывали в квартиры, спорили друг с другом.

Ольга обомлела. Вот влипла, так влипла, с первого раза, будь он проклят, тот дед, что подстрекнул. Вспомнила слова Лены Боровской: за мародерство во всех армиях расстреливают. А что им? Шлепнут тут же — и все, кто их осудит, никто даже не узнает, где она погибла. И никто не пожалеет — сама полезла. Правда, паспорт она взяла с собой на всякий случай, долго думала, брать или не брать советский паспорт, и решила, что иметь документ, который свидетельствует, что она минчанка, не лишнее. Стояла, боялась пошевелиться, ждала, когда немцы дойдут до нее. Подготовила паспорт. Себя не жалела, про себя думала безжалостно: «Так тебе, дуре, и надо!» Свету жалела. Куда ее денут? Казимир добрый, не бросит. Но несчастной будет сирота, которой придется жить у Анюты, у их невестки, — неприязнь к ней осталась в наследство от матери.

Немцы поднялись выше, один что-то спросил у нее по-немецки. Она испуганно заморгала, замотала головой. Немцы засмеялись и, обойдя ее, вошли в квартиру, из которой она только что вышла. Даже не посмотрели, что у нее в узле: наверное, подумали, что она здешняя жиличка и выселяется, а это им и нужно — очистить дом от жильцов. Как бы там ни было, но от встречи такой, от безнаказанности Ольга совсем осмелела. Тянула все, что попадалось под руку. Висел приказ сдать радиоприемники, а она с Революционной улицы, чуть ли не через весь город, принесла завернутый в простыню радиоприемник домой.

С такими же, как она, рисковыми личностями облазила разбомбленные дома. В одном дворе взрывом бомбы перевернуло машину, в кабине остался убитый шофер. Они и машину эту «почистили», нашли в кузове советские деньги и почтовые марки. Труп уже начал разлагаться, в такую жару это недолго, но Ольга усмотрела на нем новенькую кобуру и тайком от остальных «чистильщиков» обрезала ее и спрятала в узел, завернув в кусок сукна. Понимала, что если немцы осмотрят ее добычу, — а уже случалось, что осматривали, — и найдут советский пистолет, мало ей не будет. Но удержаться от искушения не могла. Возможно не столько револьвер ее привлекал, сколько желтенькая кобура, дочь кожевника знала цену хорошей коже. А может, жило в ней что-то озорное, мальчишеское: почему бы не взять такую игрушку?! Ни один из комаровских парней не прошел бы мимо! Или подсознательно рождалось что-то более серьезное: вдруг в той неизвестности, что ждет впереди, понадобится и пистолет?

Прекратила она свои вылазки после того, как в руинах большого дома на Комсомольской немцы обстреляли их из автоматов. Без предупреждения. Компаньонка по поискам добычи, немолодая женщина со Сторожевки, вскрикнула и ткнулась головой в щебенку. Ольга скатилась по ступенькам лестницы, как неживая, разбила голову, пообдирала колени. На животе, будто раненая кошка, выползла из злосчастного дома.

Вот они какие, немцы! Могут не обратить внимания, когда ты тянешь на плечах приемник, и могут начать стрелять просто так, точно для забавы. Кстати, в тот день было ей уже одно предупреждение: на ее глазах на Немиге застрелили старого еврея. Одетый в замусоленный сюртук, он шел с новеньким кожаным чемоданом, который очень уж не подходил к его внешности, к его бедности. Двое гитлеровцев в черной форме подошли к еврею, один взял его за бороду, ничего не сказав, достал пистолет и выстрелил старику в... шею, в кадык. Ольга увидела, как брызнула кровь, и чуть не потеряла сознание. Конечно, после того случая

нужно было к дьяволу бросить все тряпки, — ведь в тот день они и вправду подбирали одно тряпье, ничего хорошего уже не осталось, — бросить и бежать домой, к Светке, и жить как Лена Боровская, как другие соседи: никуда не выходить, ждать... Но по-обывательски рассудила: то был еврей, немцы не любят евреев, а она белоруска и ничего плохого не делала — будто тот старик обязательно сделал что-то плохое.

## II

— Драники! Драники! Горячие драники! — кричала Ольга, хлопая в ладоши и пританцовывая от холода. Но в тот день и на такое лакомство, как горячие картофельные оладьи, не особенно бросались, не так, как раньше, когда на рынке начали торговать едой, которую можно было тут же съесть. Голод, лучший экономист, подсказывал тем, у кого было что продать, как это сделать выгоднее всего. При Советах вареным и жареным не торговали — нужды не было. Кто бы это стал есть на рынке? Разве что пьяница какой-нибудь. Правда, Ольге рассказывала мать, что при нэпе тут, на рынке, стояли жаровни, на них жарились колбаса, верещака, пеклись блинцы... Но тогда нэпманы просто искали, чем привлечь покупателей. Теперь же, в оккупации, эта торговля от голодухи. Ольга одна из первых сообразила, что нужно людям, которые бродили по рынку и даже на кочан капусты смотрели голодными глазами. Если бы кто-то упрекнул ее, что она обирает голодных, она бы плюнула тому в глаза. Нет, она помогает людям, пусть скажут спасибо, что ей удалось и картофеля накопать, и мукой запастись, и маслом. В конце концов, продать это все можно, не выходя из дому, теперь любые продукты с руками оторвут, спасибо скажут. А она печет эти драники, сама же и дрова покупает тут, на рынке, а потом стоит на холоде, дубенеет. Ей не приходило в голову, что без торговли она уже не может жить, что торговля стала для нее потребностью, главной целью существования. В натуре всех примитивных людей — искать своим поступкам благородные оправдания: одни их объясняют большой политикой, своей верой в национальные, расовые,

религиозные идеи, другие — желанием помочь ближним не умереть с голоду, кормить детей и т. д.

То, что не бросались на драники, не хватали их, Ольгу не очень беспокоило: не пропадет ее товар, продаст, голод, как говорится, не тетка.

На рынке в тот день было пустовато. Сильно похолодало. Захолодало рано — середина октября всего, в прошлые годы в такое время еще сверкало золотом бабье лето. А тут, точно назло тем, кто сейчас где-то в окопах, уже три ночи здорово подмораживало. Но позавчера и вчера еще пригревало скупое осеннее солнце, а сегодня по небу летели тяжелые, темные снежные тучи, раза два сыпалась снежная крупа, потом тучи разорвало, подул порывистый ветер, вздымая с земли песок, засыпая глаза. Было неуютно, грустно и тревожно. Рынок опустел, наверное, и по другой причине: вчера была облава, некоторых подозрительных схватили полиция и гестапо. Облава Ольгу насторожила. Если они и дальше начнут превращать рынок в ловушку, то какой дурак будет ходить сюда и что тогда останется от свободной торговли, которую новая власть декларировала... За себя она не боялась, у нее были знакомые и в полиции, и даже среди немцев, — легко заводить знакомства, если есть чем угостить, сами липнут, как мухи на мед.

Подошел высокий мужчина с аккуратно подстриженными усиками, странновато одетый — в старой, помятой шляпе и в новом кожушке, красном, расшитом желтыми нитками. Впрочем, Ольгу это не особенно удивило: теперь многие так одеваются — половина убранства городского, половина деревенского. Но на кожушок она позарилась — подумала, что расшивка на нем женская, зачем мужчине такие галуны, ей бы они больше подошли.

— Почем драники, красавица?

— Три марки за пару.

— Ого, кусаются же они у тебя!

— Так их же кусать можно, потому и они кусаются.

— А ты веселая.

— А чего мне бедовать?

— И правда, зачем нам бедовать, когда можно торговать?

Он почти пропел эти слова, и тон его обидел Ольгу. Но она научилась молчать. А то еще нарвешься на какого-нибудь агента гестапо. Обиду высказала осторожно:

— Стань на мое место, покалей тут... А картошку иди купи ее, привези в город...

Мужчина засмеялся.

— Возьми меня в примаки, буду снабженцем.

— Много вас набивается в примаки. У меня муж есть.

— Не везет, — причмокнул он.

— Так давать драники?

— Не заработал я на них.

— Продай дубленку.

— А сам в чем пойду? Зима наступает.

— Я тебе шинель дам. Кило сала. Литр самогонки. И накормлю от пуза.

Он весело свистнул. С иронией сказал:

— Неплохая цена.

— Разве мало даю?

— Да нет, щедро. Но шинель мне пока не нужна. — Он нахмурился. — Будь здорова, торговка.

Слова этого «торговка» Ольга не любила. Сама торговля не оскорбляла, работа не хуже любой другой, так

считала ее мать, так и она считает, а слово обижало.

Подошел знакомый полицейский — Федор Друтька.

«Появился нахлебничек, нигде без вас не обойдется», — подумала Ольга, но без злости, потому что Друтьку этого считала человеком: не нахал, не хапуга, ласковый, добрый, а главное — молодой и красивый. Ольга не любила стариков. Но и к ласковости Друтькиной относилась осторожно.

— Не замерзла?

— Не-ет...

— Кровь у тебя кипит. А я заколел, пальцы не могу разогнуть. Откуда он, такой холод? Рано же еще.

Ольга незаметно вздохнула: знала, чего ждет полицай, когда жалуется на холод. Нагнулась над прилавком, не вынимая бутыль из корзины, накрытой платком, налила в кружку, протянула Друтьке. Тот как-то стыдливо оглянулся, но соседки торговки отвернулись: они, мол, не видят, у кого угощается пан полицейский. А пан очень быстро, с размаху, выплеснул полкружки вонючей самогонки в пасть. И застыл, будто прислушиваясь к сигналу далекой тревоги, потом весело крякнул:

— Вот когда, падла, дошла до жилочек! Огонь! Пламя!

Ольга про себя думала: «Жри, чтоб тебе внутренности сожгло», — но все же засмеялась: угостить человека ей всегда было приятно.

Развернула старое одеяло, достала из кастрюли вилкой два драника и опять подумала: «На, живоглот, закуси».

Полицай запихнул в рот сразу два драника, проглотил не жуя. Похвалил:

— Вкусное у тебя все, Ольга. Хорошая ты хозяйка. Бери меня в примаки.

Ольга весело крикнула соседке:

— Слышала, тетка Стефа? Еще один примак! Вот везет мне!

И повернулась к полицаю:

— Тут перед тобой, посмотрел бы, какой пан напрашивался в примаки. Ого! Мужчина во! А какой кожушок на нем. Чудо!

Друтька нахмурился.

— Из панов не бери. Из нас, мужиков, выбирай.

— О чем это вы болтаете? У нее муж есть, — вступилась за Ольгу соседка.

— Где он, ее муж? — Самогонка ударила в голову, и Друтька, сразу побагровев, угодливо улыбнулся: хотелось еще выпить, и он было потоптался перед Ольгой, но вымогать не стал, пошел искать других, кто платил дань такой же жидкой натурой.

— Вот повадились, как татары, — сказала Стефа, когда полицай отошел.

Через некоторое время они, четыре опытные торговки, стали обсуждать размеры взяток, которые следовало давать полицаям и немецкому патрулю, — кому сколько, чтобы была одна норма, одна тактика.

В разговоре Ольга не заметила, как перед ее прилавком появилась Лена Боровская, или просто не сразу узнала подружку. С того времени, как поссорились в начале войны, они не разговаривали и видели друг друга только издалека.

Лена была в старом пальто, слишком легком для такой погоды, голова обернута клетчатым, как плед, платком, теплым, но старомодным, такие платки разве что еще до революции носили. Правда, теперь в оккупации, никакая одежда не удивляла, из сундуков вынималось все старье — старые шубы, сюртуки,

сарафаны, армяки, поневы, их носили, торговали ими, выменивали на продукты. Но Лену платок этот очень старил, она выглядела в нем пожилой женщиной. Ольга даже растерялась, когда наконец узнала ее. Лена очень похудела, лицо вытянулось, пожелтело, нос удлинился, а под когда-то красивыми голубыми глазами легли черные тени, точно после болезни. Из гордости Ольга глядела на Лену молча — ожидала, чтобы она, Лена, поздоровалась первая.

Лена не сказала «здравствуй», но улыбнулась посиневшими губами примирительно и, съежившись, пожаловалась:

— Х-холодно...

Этого было достаточно, Ольге стало жалко подругу. Хотя семью их она осуждала: «Дураки они, эти Боровские. Как дети. Все же дома — и старик, и мать, и братья. И ничего не умеют сделать, чтобы не голодать».

— Драника хочешь? — неожиданно для себя спросила Ольга.

— Хочу, — просто ответила Лена.

Откусывала она маленькими кусочками, согревая теплым драником руки и смакуя его, как самое дорогое лакомство. Глаза ее, словно потухшие, застывшие, бесцветные, сразу ожили, и в них засветилась прежняя голубизна. Ольга тоже оттаяла, радуясь, что школьная подруга после долгой ссоры пришла к ней первая.

— Дать еще драник?

— Если не жалко.

— Тебе не жалею.

— Не боишься, что сама останешься без картошки?

— Не боюсь.

— Запасливая ты.

— Да уж ворон не ловила. — -Это был явный упрек им, Боровским, но то ли Лена не поняла, то ли решила не обращать внимания, или, может, голод привел к мысли, что жить нужно иначе. Во всяком случае, Ольге все больше нравилось, что Лена теперь такая кроткая, покорная, без гонора своего комсомольского, который она часто проявляла и в школе, и работая в типографии, и особенно в начале войны.

— Домой не собираешься? — спросила Лена, доев вторую пару драников уже торопливо, не то, что первую.

Ольга догадалась, что Лена хочет что-то сказать, о чем тут на рынке, говорить не отваживается.

— А правда, какая торговля в такой холод! — И, удивив соседок, поставила завернутую в одеяло кастрюлю в корзину, вскинула ее на плечо. Лене сунула клеенчатую сумку с самогонкой и свеклой.

Друтька, которому не удалось больше ни у кого поживиться, увидев, что Ольга уходит, разочарованно раскрыл рот и поплелся следом.

Может, потому, что увидели за собой полицая, хотя и на значительном расстоянии, или потому, что грязь за день оттаяла и нужно было идти гуськом, след в след, наступая на одни и те же кирпичи и кладки, чтобы не попасть в лужи, они долго шли молча. Когда вышли на свою, более сухую, песчаную улицу, пошли рядом, потом обернулись: полицай отстал, у него еще были остатки совести, чтобы не идти за вторым стаканом самогонки в дом.

Ольга спросила:

— Что ты делаешь, Лена?

— Работаю.

— Где?

— В типографии.

— В немецкой? — очень удивилась Ольга.

— Нужно же как-то жить.

— Вот это правда! — чуть ли не крикнула от радости Ольга. — Нужно как-то жить. А ты меня упрекала.

Лена смолчала. Потом неожиданно попросила:

— Слушай, забери одного человека из лагеря в Дроздах.

— Как же я заберу его?

— Как мужа. Женщины забирают мужей...

Ольга знала: некоторые минчанки и жительницы пригородных деревень выкупили кто своих мужей, если им посчастливилось очутиться тут, близко от дома, кто чужих. Ольга тоже ходила в Дрозды, в Слепянку, ездила в Борисов — искала своего Адама. За хороший выкуп немцы отдают пленных красноармейцев, только комиссаров не отдают.

— У меня есть муж. Что скажут соседи?

— Ты только выкупи его да выведи из лагеря, а там уже не твоя забота.

— Ага, чтобы охрана подстрелила? Было ведь уже, говорят, такое, что начали стрелять в баб. Положишь голову неизвестно за кого.

Лена остановилась, схватила Ольгу за лацканы пальто, глаза ее горели, щеки болезненно румянились.

— Ольга, это очень нужный человек.

— Кому нужный? Тебе? Так ты и забирай.

— Народу... народу нужный, — странно, как бы захлебываясь, прошептала Лена.

— О милая моя! — засмеялась Ольга. — Что мне думать о народе! Народ обо мне не думает.

Лена рывком притянула ее к себе и горячо зашептала в лицо:

— Олька! Нельзя так... Нельзя... не думать о народе. Когда-нибудь у нас спросят... дети наши спросят... что мы сделали, чтобы освободиться от нечисти этой... Ты хочешь, чтобы твоя Света выросла в рабстве? И вырастет ли вообще!.. Ты еще не узнала, что такое фашизм!

— Если я буду жива, то вырастет и моя дочь. А если ты меня втянешь в партизаны и меня повесят, как тех, в сквере, то о ребенке моем никто не подумает. Никто!

— Я тебя не втягиваю в партизаны. Я тебя прошу спасти человека.

— На хрена мне твой человек!

— Эх, Ольга, Ольга! — легонько отпихнув Ольгу, с печалью и разочарованием сказала Лена, повернулась и побежала с середины улицы ближе к заборам, будто испугалась или искала убежища от чужих глаз.

«Ну и пошла ты...» — в первый момент хотелось крикнуть Ольге и добавить базарное слово. Но Лена уходила медленно, маленькая, сгорбленная, как старушка, в старомодном платке. И Ольге вдруг стало жаль ее. И себя. И еще о дружбе с Леной пожалела, почувствовала, что ведь так разойдутся они навсегда, на всю жизнь врагами станут. А врагов хватает чужих,

Но не только это остановило. Было много другого. Поднялась целая буря чувств, самых противоречивых. Целый день потом, хозяйничая в доме, она старалась разобраться в самой себе... Действительно, разве пришлые захватчики в зеленых и черных мундирах друзья ей? Зачем же еще и своим становиться врагами? Хватит и этой гадости — полицаев, они будто звери. Не к полицаям же ей, Ольге, тянуться, хотя и вынуждена иногда угощать их. А к кому, к кому тянуться? К таким, как Лена? Но очень уж похоже на то, что эта одержимая комсомолка связана с партизанами,

которые действуют тут, в городе, о которых шепчутся люди, а немцы вывешивают приказы, грозят всем, кто их поддержит, смертью, и уже повесили несколько человек в сквере около Дома Красной Армии, виноватых или невиновных — неизвестно, может, просто для устрашения. Нет, с Леной ей не по пути. Но вместе с тем люди, такие, как вся семья Боровских, которые живут в голоде и холоде, но не склоняют головы перед врагами, впервые как-то совсем иначе, не по-обывательски, заинтересовали Ольгу, более того — она почувствовала к ним уважение, и от этого самой сделалось страшно. Если о них с уважением думать, то и полюбить их можно, восхищаться ими и пойти за ними, на смерть пойти. Лучше было поссориться с Леной, пусть бы немного поскребли кошки на душе, но зато потом она жила бы спокойно, не признавая никаких Боровских, и ничего бы не боялась. В конце концов, и при немцах жить можно, если не быть дураком, торговле даже больший простор, чем при Советах. Можно свою лавчонку иметь, о чем, между прочим, она мечтала, ради чего копила марки: не нужно будет тогда дрожать на рынке от холода и страха, сиди себе в тепле, отмеривай и отвешивай товар, на который получишь разрешение, а к тебе с уважением будут: «Пани Леновичиха...»

Нет, в ту ночь не уважение к таким, как Лена, определило ее решение. Ольга думала о том, что все чаще и чаще к ней заглядывают полицаи и, подвыпив, липнут со своими мерзкими ласками. От полицаев она пока что отбивалась: кому вынуждена была подарить поцелуй как надежду на большее, лишь бы сейчас отцепился, а кому оплеуху и тумака — не лезь в чужое. Но вот вместе с полицаями стали заходить немцы и тоже посматривают, как коты на сало. А эти гады на будут церемониться, надругаются на глазах у ребенка, у старой Марили, в душу наплюют, ославят на весь город. Этого она боялась, как смерти. Так почему бы ей не взять в дом мужчину? Взяли же некоторые бабы, а ведь у них мужья, как и у нее на войне. При мужчине, да еще если он назовется мужем, не отважатся приставать. Адам? Что ж, если он вернется (боже мой,

когда это может случиться?!), она покается... Хотя, возможно, и каяться не нужно будет. Нет сомнения, что Лена имеет задание спасти не лишь бы кого, а наверняка командира или комиссара, коммуниста, видимо, уже немолодого человека. Такой, даже живя с ней в одном доме, никогда не станет посягать на ее женскую честь. А если уж случится грех — сама она не устоит, — то пусть это будет с одним, со своим человеком, по-доброму, по согласию. Что это будет за человек, чем займется на воле — об этом не думала, далеко не заглядывала.

Фашисты не скрывали лагерей военнопленных, умышленно, для устрашения, конечно, устраивали их на видных местах, рядом с шоссе, железными дорогами. Дулаг в Дроздах был основан в первые же дни оккупации в каких-нибудь двух километрах от города, рядом с деревней Дрозды — на противоположном, левом берегу Свислочи, между двумя холмами. На одном из них, как на кладбище, росли сосны, другой был голый, словно бубен. С холмов этих, со сторожевых вышек хорошо просматривалась вся окрестность, на пустом осеннем поле был виден каждый человек.

Лена Боровская не раз уже ходила в этот лагерь, знала, откуда, с какой стороны, подпускают к колючей проволоке, даже имела знакомых охранников, если считать знакомством то, что несколько немцев уже знали молодую женщину, настойчиво искавшую брата, потому что, говорят, брата ее видели тут. Они, немцы, могли поверить, что она ищет брата, — но посмеивались над ее наивностью: брат, конечно, мог быть здесь, но скорее всего он давно уже лежит в общей могиле, где таких тысячи и где его никто не найдет — ни сестра, ни мать, ни память людская.

Ольга и Лена шли по полевой тропинке в стороне от гравийки. Тропинка эта была протоптана горожанами и подводила к тыловой ограде лагеря — к тем «воротам», через которые женщины искали своих. Здесь они подходили к колючей проволоке, и здесь же разрешали собираться пленным. Отсюда реже отгоняли, чем от

настоящих ворот, что у самого шоссе. Так охрана, видимо, скрывала торговлю пленными от начальства. Но и в нарушении инструкций немцы любили порядок: тут, около проволоки, узнавай своих, а договариваться, обойдя далеко по полю, иди к проходной.

Охрана не любила, чтобы ходили вдоль ограды, — по таким нередко стреляли без предупреждения или науськивали овчарок. Минчанки об этом знали — знали все неписаные правила. Мужчинам вообще было опасно к лагерю подходить, к ним фашисты относились особенно подозрительно.

После сухих холодных дней, когда мороз по-зимнему сковал землю, снова наступила грязная осень, земля оттаяла. Шел дождь вперемежку со снегом. Было ветрено. Сильный ветер бил в лицо, мокрый снег залеплял глаза, набивался под платки, за воротники.

Женщины, прикрываясь от ветра, от снега, шли по тропинке одна за другой. Лена — впереди. Не разговаривали. Да и о чем было говорить? Все обговорили вчера у Лены. Тогда Ольга была возбуждена, пожалуй, даже обрадована своим неожиданным дерзким решением. Само такое решение — взять в дом человека, «нужного народу», — как бы очищало ее от всей скверны, что прилипала ежедневно к ее коммерции, не обходившейся без обмана, без взяток полицаям и немцам. Но снег, дождь и ветер остудили те хорошие, теплые вчерашние чувства. Ольга шла раздраженная, обозленная на свою глупость — зачем согласилась? На Лену — навязалась на ее голову! Разве мало баб в городе? Пусть бы попросила кого-то другого! Еще при выходе из Минска, за Сторожевкой, где патруль довольно придирчиво проверил их документы — советские паспорта с дopиской и штампом городской управы, — Ольга сказала Лене:

— Ох, вижу, тянешь ты меня в омут.

Зная характер подруги, ее изменчивое настроение, Лена испугалась, стала уговаривать:

— Олечка, человека же от смерти спасем. Разве из-за этого не стоит помучиться? Ты в бога веришь. Иисус Христос за людей мучился и нам наказывал.

— Ты же в бога не веришь.

— Теперь все, Олечка, верят. — Лена стремилась всячески умилостивить подругу, не дать ей передумать.

По скользкой тропке женщины вышли на пригорок. Им предстояло перейти ложбину и на косогоре, где росли редкие сосны, подойти к тем условным воротам, к колючей проволоке, куда охрана с выгодой для себя подпускала женщин поискать среди пленных близких. Сквозь снежную завесу они увидели, что в ложбине работает множество людей, — белые, как привидения, они, казалось, не ходили, а плавали в воздухе, и нельзя было издалека понять, что они делают. Ближе, у подножия того пригорка, на котором они остановились, очень ясно вырисовывались черные, будто снег сразу таял на них, фигуры с автоматами и такие же черные собаки, огромные, с настороженными ушами, — эти уши слышат человека за версту.

Женщин заметили. Сразу двое навели на них автоматы. Но, кажется, не стреляли, только постращали, потому что ни Лена, ни Ольга выстрелов не услышали. Пригнувшись, они бросились бежать уже не по тропке, а по полю, увязая в мягкой почве, будто так легче было спастись. Вначале им казалось, что сзади, запыхавшись, лают собаки, как гончие, когда преследуют зайца. Но скорее всего они слышали лишь свист ветра и стук собственных сердец.

Потом Ольга не могла себе объяснить, почему они не побежали назад, к городу, в сторону реки. Может, потому, что в пойме реки росли кусты, стояли голые вербы, а на той стороне стояли дома, жили люди. Желания за что-то спрятаться или бежать к людям у нее не было. Просто она бросилась за Леной. А та, одержимая, возможно, схитрила: знала ведь, чувствовала, что если приблизятся к городу, то Ольгу назад уже не вернуть, не уговорить. Ольга и так,

почувствовав себя в безопасности (вокруг теперь царила тишина, и снова посыпался густой мокрый снег, за сотню шагов ничего не было видно), сказала настойчиво и даже зло:

— Ты, дорогая подружка, как хочешь, ты птица вольная, а я буду спасать себя, у меня ребенок остался.

Но Лена так просила за того незнакомого человека, как за отца родного, со слезами на глазах, что Ольга вновь согласилась выйти на дорогу, где ходят люди и машины, и подойти к центральным воротам, куда приходили все, кто не знал условных ворот.

Ольга успокоилась, увидев, что они не одни тут: за бараком, которого не было в августе, толпилось с десяток женщин. А на той стороне, за проволокой, стояли сотни две пленных, страшных призраков, обернутых в шинели, рваные ватники, одеяла, мешки. Они стояли в трех шагах от проволоки, и никто не отваживался переступить эту узкую полосу, никто не мог дотянуться до женщин, чтобы взять кусок хлеба или картофелину. На страшной полосе этой лежали двое мертвых. На спине у одного, на белой от снега гимнастерке, — больше на несчастном ничего не было, — алела свежая кровь. Его убили недавно. Может, оттого некоторые женщины испуганно отступали от проволоки и незаметно исчезали.

Переступая через мертвых, будто это бревна, спокойно, казалось, равнодушный ко всему, ходил немец, подняв воротник зеленой шинели и опустив наушники шапки на уши. Руки его в перчатках небрежно лежали на автомате. Он точно прогуливался, хотя на саком деле внимательно следил за каждым движением пленных и женщин. Передавать ничего нельзя было — за это смерть, — а переговариваться можно. Очень может быть, что охранник понимал по-русски. А если не знал языка караульный, то наверняка находился агент среди пленных. Возможно, не только ради того, чтобы нескольких человек выгодно продать действительным женам, матерям или тем, кто назовет себя женой или сестрой, но и ради того, чтобы иметь определенную

информацию и показать населению, как много взято пленных и в кого превращаются бойцы Красной Армии, какими послушными делаются они под дулами немецких автоматов, пустить в народ самые невероятные слухи, коменданты дулагов и шталагов не запрещали пока странные свидания пленных с женщинами.

Ольгу очень поразила неподвижная стена призраков — только по блеску глаз, лихорадочных, горячих, было видно, что люди эти еще живые. В августе, когда она наведалась сюда впервые, пленные были иные: голодные, обессиленные, раненые, они бросались на проволоку, вырывали из женских рук любую еду, кричали, стонали, плакали, матерились, проклинали немцев, бога, черта...

А эти молчали, говорили только их глаза.

Не сразу Ольга разглядела, что за стеною живых и в стороне от них по всей лагерной площади, побеленной снегом, лежали люди. Сначала она подумала: «Почему им приказали лежать?» Но потом заметила, что на руках, на непокрытых головах тех, лежащих, не тает снег, они давно остыли. Скорее всего их убил неожиданно сильный мороз в прошлые ночи, дождь и снег в эту сегодняшнюю ночь. В той части лагеря, куда они с Леной хотели вначале подойти, работали тысячи людей — расширяли лагерь, строили бараки. Там же стояли грузовики, и такие же призраки, что и неподвижно стоявшие здесь, сносили к машинам засыпанные снегом трупы.

Ольгу, которая не боялась ни крови, ни мертвых, охватил такой ужас, что на короткое время она будто потеряла сознание. Во всяком случае, какой-то миг ничего не видела, не слышала. Только перед глазами плыла муть, не снежная, не белая — кроваво-красная и зеленая.

А потом... потом страстно захотелось обязательно спасти хотя бы одного из этих несчастных. Если бы в тот миг ей сказали, что для спасения любого из них она

должна пожертвовать своей жизнью, она пошла бы на это.

Лена кинулась к колючей проволоке, закричала пленным:

— Авсюк! Есть Авсюк? Позовите, пожалуйста. К нему пришла жена! Жена! Господин начальник! Фрау! Жена! Адам!

Караульный, казалось, не слышал ничего, не обращал внимания, но когда Лена схватилась за проволоку, он наставил на нее автомат и коротко, будто дал очередь, сказал:

— Цурюк!

Только когда Лена крикнула: «Адам!», до Ольги дошло, что Лена без ее согласия так договорилась с пленным, заранее решив, что заберет его как мужа она, Ольга, и никто другой. Потому и просила ее так настойчиво. При других обстоятельствах поведение Лены ее возмутило бы, но сейчас ей хотелось только, чтобы Лена нашла того человека.

Пленные молчали. Это были новички, не знавшие никого из старожилов и вообще не освоившие еще тайных лагерных законов, лагерной солидарности. Никто даже не пошевелился, чтобы пойти искать Авсюка.

Лена двинулась вдоль проволоки и уже называла другую фамилию — Харитонов, возможно, настоящую фамилию того человека, в отчаянье со слезами просила, чтобы кто-нибудь поискал Владимира Харитонова.

А Ольга, приблизившись к самой ограде, смотрела на двоих. Они стояли шагах в трех от нее, такие же неподвижные, как все, и очень не похожие друг на друга. Высокий с виду лет под тридцать мужчина, заросший черной бородой, смотрел с надеждой, с мольбой, с жадностью голодного и с верой, что он один имеет право на жизнь, на спасение. Сосед его, ниже

ростом, очень худой, был совсем юноша, у него и борода еще не росла, а потому пожелтевшее лицо точно светилось. И глаза странно горели, голубые, издали были видно — голубые. Смотрел он без надежды, но с каким-то радостным, детским интересом, будто увидел, неожиданно открыл совсем иной мир, иных людей, каких никогда и не мечтал увидеть, и это дало ему величайшую радость перед смертью. Он надсадно закашлялся, отчего в глазах его засверкали слезы, а щеки болезненно заалели. Кашляя, он прикрывал рот ладонью, будто находился в хорошем обществе и стыдился своей слабости, потом поправлял закрученную на шее черную обмотку так, как, наверное, поправлял когда-то красивый шарфик. После того, как он закашлялся, словно стесняясь этого, Ольга смотрела только на него, другого не видела.

— Женщина, возьми меня, я все умею делать, я столяр, слесарь, сапожник, — глухим, простуженным голосом попросил бородатый, когда караульный отошел в сторону.

Но Ольга уже знала, что взять она может только молодого, который кашляет и весь светится, как святые мощи, и который, безусловно, еще одной ночи в этом холодном аду не проживет. Она попросила его глазами: «Скажи что-нибудь, хотя бы одно слово». Он сказал:

— Меня не бери. Я ничего делать не умею.

Тогда она закричала, будто опомнившись, закричала так, что охранник, до этого неторопливо-спокойный, стремительно повернулся к ней:

— Адась! Адасечка! Родненький мой! Что же с тобой сделалось? Бедненький мой! А тебя же доченька дома ждет! — И показала караульному так, как учила ее Лена: — Пан! Пан! Муж! Муж!

Прибежала Лена, бродившая вдоль ограды. Увидела, что Ольга показывает на совсем постороннего человека, непонимающе, удивленно, испуганно и даже сердито посмотрела на подругу: зачем она ломает их план?

Юноша растерялся, даже отступил, будто хотел спрятаться за спины других. Да его выручил бородатый — начал тормошить, как сонного, бить по плечу, отчего тот болезненно передергивался.

— Радуйся! Черт! А-дась! Авсюк! Счастливчик!

А к Ольге моментально вернулись ее обычная энергия, проворство, изворотливость, смелость — все, чем она славилась среди комаровских торговок. Не обращая внимания на растерянную Лену, она начала тут же действовать так, как учила ее подруга. Подбежала к проходной, позвала начальника.

Вышел немец, говоривший по-русски с польским акцентом. Она объяснила, что нашла своего мужа и просит отпустить его домой, совала свой паспорт, показывала штамп загса о браке.

— Комиссар?

— Что вы, пан начальник, какой он комиссар! Четыре класса кончил. Трамвай водил.

Потом подумала, что о том, где работал Адась, не стоило говорить: ведь если спросят у того несчастного, он об этом не сможет сказать и все обнаружится, сам себя загубит и ее подведет. И она принялась твердить, что муж ее на заводе работал простым рабочим. Почему-то была уверена, что тот парнишка городской, а если городской, то уж наверное работал на заводе. Со слезами рассказывала, что родители ее умерли перед самой войной и она осталась одна с маленьким ребенком. Заголосила:

— Кто же ее кормить будет, мою сиротиночку?

Немец слушал терпеливо, внимательно, напряженно всматривался в ее лицо, стремясь, видимо, понять, правду женщина говорит или лжет. Выслушал и заключил:

— Нельзя. Он воевал против немецкой армии и должен понести наказание.

— Да разве же он по своей воле? Погнали его. Сталин погнал!

Она наслушалась на рынке, где гремели громкоговорители, фашистской пропаганды и знала, чем можно завоевать у гитлеровцев расположение. Но на охранника, который ежедневно видел тысячи смертей и, конечно, сам убивал или отсылал людей на смерть, ничего не действовало. Или он просто набивал цену, потому что на корзинку ее, покрытую рушником, посматривал не без интереса. Когда он повернулся, чтобы уйти, Ольга вдруг упала перед ним на колени и заголосила громко, по-бабьи, как голосят по умершему. Это, возможно, произвело впечатление. Охранник повел ее в барак. В комнате, в которой грела чугунная печь и было душно, представил Ольгу толстому начальнику, по-военному коротко доложив о ее просьбе. Потом уже по-свойски они что-то обсуждали и смеялись, будто забыв о ней.

Ольга ждала со страхом, стоя на пороге. Ее охватил ужас, когда толстый, повернувшись к ней, расстегнул ремень и снял френч, оставшись в одной коричневой рубашке, которую широкие подтяжки прижимали к толстым, как у бабы, грудям.

Лихорадочно кружились мысли, но выхода не находилось. Отбиваться — смерть неминуемая, это не полицаи, которым можно было дать тумака или неопределенно пообещать. Неужели нужно пережить страшное насилие, чтобы спасти человека? А как отступить? Как спасти себя?

В рот будто ваты сухой напихали, и она никак не могла проглотить эту вату. Печь чадила, от духоты и чада кружилась голова. Подумалось, что лучше уж потерять сознание, — может, это остановило бы насильников или, во всяком случае, она бы ничего не видела, не чувствовала. Зажмурила глаза, готовая упасть. Но страшного не случилось, судьба была милостива к ней. Она услышала знакомые уже слова: «Вас ист гир?» — и открыла глаза.

Фашист стоял перед ней и толстым пальцем показывал на корзинку. Обрадованная, Ольга наклонилась, отвернула рушник и выхватила бутылку водки, взболтнув, показала наклейку:

— Московская!

— О, московски! — Толстый схватил бутылку, подбежал к тому, что говорил по-русски, и долго что-то весело разъяснял ему, поворачивая бутылку и повторяя то «Москау», то «Московски» — почти по-русски.

А Ольга, осмелев, подошла к забрызганному чернилами, некрашенному столу и начала выкладывать из корзинки сало, колбасу, сыр, блинчики, которые утром напекла из пшеничной муки.

Толстый, как кот, обошел вокруг стола, осмотрел принесенное, плотоядно облизнулся, но тут же сморщился и покрутил головой.

— Мало, — сказал переводчик.

Ольга полезла за пазуху, достала платочек, зубами развязала узелок и протянула два золотых червонца, царские.

У немца загорелись глаза. Схватив золото, кинулся к френчу, который висел на спинке стула, достал из кармана очки, долго и уже молча, без смеха и слов, принялся рассматривать червонцы. Потом повернулся к переводчику и крикнул что-то, как будто ругнулся:

— Мало, — снова сказал тот.

«Чтоб вас разорвало, гады вы ненасытные, бога на вас нет, мучаете людей, да еще хотите заработать на этом», — подумала Ольга и развела руками: мол, больше ничего нет.

— Мало, — повторил переводчик почти с угрозой.

Ольга поняла, как здорово они напрактиковались зарабатывать на людях. Но торговаться и она умела,

знала многие, самые тонкие, секреты торгового дела. Задумалась, что еще она может предложить. Вспомнила и «обрадовалась» — подмигнула толстяку. Сдвинула платок, отцепила серьги, золотые. Такие она не носила не только теперь, при немцах, но и раньше, до войны, в праздники изредка надевала. Но на рынке она узнала немецкую жадность, их торговую хитрость и потому захватила серьги, посоветовавшись с Леной, на тот случай, если потребуют большой платы: вот, мол, последнее отдаю, с ушей снимаю.

Толстый фашист сразу спрятал серьги туда же, куда и червонцы, — в нагрудный карман, застегнул пуговицу и прижал карман подтяжкой, чтобы грудью ощущать золото. На этом успокоился — поверил, что больше ничего ценного у женщины нет. Но потребовал документ. Ольга дала паспорт.

Переводчик переписал из паспорта в книгу ее фамилию, имя, спросил имя мужа, заглянул на ту страничку, где стояли советский и немецкий штампы о прописке. Тем временем толстый взял корзину и начал складывать в нее выложенные на стол продукты.

«Не нужно им сало и блинцы, им только золото подавай», — подумала Ольга и порадовалась, что хотя бы что-то останется, продукты сейчас дороже золота, а ее уже скребнула обычная расчетливость: Слишком дорого пришлось заплатить неизвестно за кого, даже не за того человека, который так нужен Лене. Почему этот мальчик так бросился в глаза? Почему так разбередил душу? Куда она денет его? Того где-то устроила бы Лена. А этого не заберет. Зачем ей, Лене, такой доходяга, дитя безусое? Лене и ее друзьям, конечно, нужен был какой-то командир или комиссар, может, большой большевистский начальник.

Но Ольга тут же отогнала все сомнения. Лена будет недовольна? Ну и пусть. Сама наделала хлопот! Не было бы больших...

Нет, немец не вернул ей продукты. Он забрал все — и корзину, и рушник, спрятал за шкаф. Ольге даже весело

сделалось от такой алчности толстого паразита. Она вдруг почувствовала, насколько она лучше их, этих пришельцев, кричавших во все горло о своем превосходстве над другими народами. Покойницу мать и ее, Ольгу, некоторые соседи, знакомые, в том числе Боровские, обвиняли в жадности. Старый Боровский когда-то сказал: «Леновичиха за копейку в церкви пукнет». Но тут Ольга подумала, что ее жадность по сравнению со скаредностью этих ненасытных ублюдков, зарабатывающих на крови и смерти, — мелочь, безвредная человеческая слабость, и ей сделалось особенно хорошо на душе. Зачем теперь думать о том, что будет завтра? Важно, что она сделала доброе сегодня — не пожалела ни продуктов, ни золота и ничего не побоялась, чтобы спасти человека. Действительно, такой поступок как бы очистил душу, возвысил над той грязью, в которой она ежедневно копошилась, к которой привыкла в борьбе за сытую жизнь.

Теперь она разве только одного боялась — что, забрав выкуп, охранники не отдадут пленного, от фашистов можно всего ожидать.

Отдали, Через полчаса переводчик вывел парня из того же барака и пихнул в спину так, что бедняга упал в грязь, ей под ноги. Разозлился, что ли, что жертва вырывается на волю? Или мало досталось ему платы за проданного?

Ольга опустилась перед пленным на колени, вытерла ему лицо уголком платка и поцеловала в горячие губы. Парень и вправду был болен, его палил жар. Он уткнулся лицом в ее плечо и заплакал, глухо, судорожно.

— Не нужно, родненький мой, не нужно, — зашептала ему Ольга. — Быстрей пойдем отсюда! Быстрей!

Ему самому хотелось скорее уйти из этого жуткого лагеря, где — он это знал, чувствовал — смерть ожидала его, обессиленного, больного, в одну из ближайших морозных ночей, может, даже просто в

следующую. Поэтому он вскочил с земли с проворством здорового человека. Но осторожная и хитрая Ольга не дала ему побежать. Она взяла его под руку и повела по грязной, разбитой грузовиками дороге. Однако, отойдя так, что бараки и колючая проволока скрылись за пригорком, не выдержали оба — свернули с дороги, по которой могли идти... не люди, фашисты, и побежали по вязкому полю, по низине, не понимая, что рисковали гораздо больше, — по ним мог ударить пулемет с вышки. Но в тот миг рассудительная Ольга забыла обо всем, в том числе и о том, что все равно придется выходить на дорогу, идти через посты и на городских улицах встретить их, немцев, несчетное количество. Но тех, в городе, она так не боялась. На рынке, например, она вообще не боялась немцев, больше обирали свои — полицаи, с немцами она научилась договариваться.

Сил у парня хватило ненадолго, он споткнулся. Когда Ольга бросилась помочь, попросил виновато, как-то очень интеллигентно:

— Простите. Позвольте посидеть, — и так глянул своими огромными голубыми глазами, что у Ольги сердце сжалось. «Как он просит «позвольте»... Дорогой ты мой, кто тебе может не позволить, когда у тебя действительно не хватает сил...»

— Вот там стожок, солома лежала, — сказала Ольга и помогла ему встать на ноги, обняв за плечи, привела к запорошенному снегом подстожью.

Садясь на мокрую солому, он снова виновато разъяснил:

— Дышать тяжело, знаете ли. Не хватает воздуха. — И грустно улыбнулся. — В таком просторе человеку не хватает воздуха. Парадокс.

Последнего слова Ольга не поняла — ученое какое-то слово. Вообще ее странно смутила его интеллигентность. Подумала: как обращаться к этому парнишке — на «вы» или на «ты»? Хотелось как-то сразу упростить отношения, тогда они быстрее поняли

б друг друга, для этого у нее было проверенное средство — грубая шутка. Но как, над чем можно пошутить тут?

Парень сидел на снегу, снег таял под ним, а он будто и не чувствовал сырости. В обычных условиях можно было пошутить над этим. Но подумала, что промокший до костей, больной в горячке, он действительно уже не чувствует ни сырости, ни холода — ничего. От этого и самой сделалось нестерпимо зябко, хотя перед этим согрелась, пока бежала.

Обессиленный юноша закрыл глаза, Ольга испугалась, что он может умереть тут, в поле, только что вырвавшись из пекла.

— Давно ты у них?

— А-а? — Он вздрогнул испуганно, но моментально пришел в себя, — Нет, тут недолго, четвертый день. Хотя вы не можете представить, что такое эти дни. Меня взяли в плен три недели назад. Под Вязьмой. Всю нашу редакцию. Мы попали в окружение. Василий Петрович застрелился. А мы... я... не смог, знаете, не хватило духу... Трус! Ненавижу себя за это. Хотелось жить... молодой. Я... я не имел права так жить! Вы не представляете, что я пережил за эти недели... Это невозможно рассказать.

Слово «редакция» еще больше смутило Ольгу, но то, что рассказывает он складно, не бредит, порадовало: нет, не умрет, только бы добраться до дома, а там она его отогреет и откормит.

— Как зовут тебя?

— Меня? — Его, кажется, испугал такой вопрос, он задумался, как бы вспоминая свое имя; это тоже насторожило Ольгу: не плохо ли у него с головой? — Олесь... Саша. Мама называла Саней, а в школе — Шура. Но вы можете называть Олесем. А фамилия Шпак. — Непонятно почему он не назвал своей настоящей фамилии — может, потому, что не любил ее.

Шпак — был его поэтический псевдоним, который в плену он, наоборот, скрывал.

— Ты здешний?

— Как вы понимаете здешний? — и снова будто испугался, горячие глаза внимательно следили за Ольгой.

— Олесь — это по-белорусски. И выговор у тебя наш.

— Я с Полесья.

Ольга усмехнулась.

— Везет мне: муж мой тоже с Полесья. На фронте где-то.

Парня немного смутило, что женщина так сказала о муже и о нем — «везет». В чем «везет»? Но то, что муж ее фронтовик, в какой-то степени сближало их. Может, поэтому он спросил:

— У вас нет хлеба? Если бы я съел хлеба... знаете... я окреп бы.

Ольга провела застывшими руками по карманам пальто. Ничего не было. Как она могла забыть, что заберет из лагеря изголодавшегося человека? Что он может подумать о ней? Почему-то показалось вдруг очень важным, чтобы он не подумал о ней плохо. Она объяснила:

— Все забрали фашисты проклятые. Как волки. Продукты прямо с корзиной забрали, все до крошки. И золото...

От слова «золото» глаза у юноши расширились. А Ольга уже не могла сдержаться, у нее была своя логика, своя мера ценностей и — главное — свой, базарный язык:

— Я за тебя золотом заплатила. Думаешь, так отдали бы? Ого! Держи карман шире! Такие живоглоты! На всем заработать умеют!

Парень страшно смутился, даже глаза потухли. Или, может, неудобно было ему смотреть на эту женщину, заплатившую за него, такого жалкого, золотом?

— Зачем? — прошептал он.

— Что зачем? — не поняла Ольга.

— Зачем я вам? Я ничего не умею делать.

— Научишься! — уверенно заключила Ольга. — Были бы руки да голова. Есть захочешь — всему научишься.

Ольга плюнула бы тому в глаза, кто сказал бы ей, что словами своими она заставляет юношу страдать не меньше, чем от холода и голода. А между тем это было так. К физическим мукам он привык, понимал их неизбежность — сам же писал о зверствах фашистов — и готов был к смерти, другого выхода не видел. Но чтобы его продали за золото молодой красивой женщине — о таком и не снилось, и вообразить не мог ни сам он и никто в армейской редакции на фронте. Правда, тут, в лагере, он узнал: случается изредка, что пленного отдают жене, матери, но у него жены не было, а мать далеко. О том же, что могут человека продать чужой женщине, никто не говорил. Безусловно, любой пленный посчитал бы за счастье такое спасение. Он поначалу тоже очень обрадовался. Но теперь от того, что услышал, радость померкла, возникли новые душевные муки: его, знавшего еще совсем недавно только один плен — своих возвышенных мечтаний, теперь продают, как невольника, раба. Чего доброго, патрицианка эта может и перепродать его с выгодой для себя.

Неизвестно, как пошел бы разговор дальше, если бы их не нашла Лена. Прибежала, запыхавшись, и тут же набросилась на Ольгу:

— Посадила человека на мерзлую землю! Сама небось не села. Пусть бы нагрела место своей толстой... — Лена, всегда отличавшаяся деликатностью, не постеснялась при незнакомом парне сказать такие

грубые слова. Она подняла пленного с земли, отчего тот опять страшно смутился.

Ольга понимала, из-за чего Лена злится, и не обиделась, даже засмеялась, коротко попросила:

— Не злись, Леночка. Не было же того. А этот так понравился мне! Ты посмотри, какой он, — краснеет от каждого слова, как девочка!

Лена, не слушая Ольгу, не отвечая ей, взяла пленного под руку и повела в сторону города, на знакомую ей тропинку. Ольге не понравилось, что Лена так бесцеремонно захватила освобожденного, будто это она выкупила его, появилось знакомое чувство собственницы: «Моего не трожь!» Но она понимала, что глупо ссориться с Леной в присутствии этого парня, почему-то при нем ей захотелось быть доброй, по-человечески красивой.

— Ты хотя бы накормила человека? — все еще сурово спросила Лена.

— Так все же забрали, гады. С корзинкой. С рушником.

Тогда Лена остановилась и достала из-за пазухи теплую краюшку хлеба и луковицу.

Олесь, забыв о только что пережитых душевных муках, выхватил из ее рук хлеб и тут же жадно вгрызся белыми зубами в корку. Глотал не жуя.

— Ешь луковицу, — сказала Лена, — в ней витаминов много.

Откусил лук, и из глаз его полились крупные слезы. Они понимали, что не только от лука эти слезы, от лука так не плачут. А ему, наверное, было легче думать, что от луковицы, он пытался даже улыбнуться своим освободительницам. Но они старались не смотреть, как он ест: известно — голодный человек ест не всегда красиво.

Лена тяжело вздохнула.

Ольга, упрекая себя, думала с новой для себя ревностью, что Лена проявила большую практичность — не забыла, что освобожденного нужно накормить, иначе можно не довести, не близко от Дроздов до Комаровки.

Запыхавшись от еды, как от тяжелой работы, Олесь спросил у Лены:

— Ты искала кого-то другого?

Лена кивнула.

— Утром расстреляли шестерых. Перед строем. Они хотели убежать... как будто...

Ольгу снова ревниво задело, что они так, сразу, сошлись, Лена и он, этот выкупленный ею парнишка, что с Леной он, ингеллигентик, сразу на «ты», как с давней знакомой.

## III

Ольга вошла в дом и на кухне затопала смерзшимися сапогами, обивая снег, подышала на окоченевшие руки. Не открывая двери в комнату (услышала, что к ним притопала Светка и звала маму, — не простудить бы ребенка!), сказала громко, чтобы услышал жилец:

— Настоящая зима. Это же надо — так рано. Как на го́ре...

— Кому на горе? — спросил Олесь и позвал малышку: — Светик, иди сюда, а то Дед Мороз отморозит пальчик.

Но девочка барабанила кулачками в двери и требовала:

— Дай, дай! — что означало: «Дай маму!»

Ольга притихла, застыла с поднятыми руками, развязывая платок, прислушалась. Ей показалось, что голос парня послышался не оттуда, где надлежало быть больному, — не из спальни ее родителей с их широкой, деревянной, занимавшей половину тесной комнатки,

кровати, а где-то ближе, сразу за дверью, в «зале», где топала Светка.

Ольга сбросила холодное пальто, осторожно приоткрыла двери в «зал» и от удивления не подхватила, как обычно, Светку на руки. Олесь стоял перед зеркалом большого, красного дерева, шкафа и брился.

Его военную гимнастерку, рваную, грязную, она обдала кипятком, чтобы убить вшей, выстирала, выутюжила, пока он лежал без сознания, и без его разрешения продала на толкучке, рассудив, что военное ему теперь не нужно, более того — ходить в нем по городу опасно, выбросить же жалко, у нее ничего не пропадало зря. Когда больной пошел на поправку, Ольга дала ему одежду мужа, но при ней Саша еще ни разу не одевался.

А сейчас он стоял перед зеркалом в желтых башмаках, в черных мужниных брюках, в белой сорочке, которая была так велика ему, что казалось, там, под сорочкой, нет тела, один воздух. Да и вообще весь он точно светился белизной — сорочкой, смертельно бледным лицом, белыми волосами. Не сразу она сообразила, что такой неземной вид у него не только оттого, что исхудал, совсем высох, бедненький, но и от света, падавшего из окон через тюлевые гардины. Ночью выпал снег, и сильно подморозило. Неожиданная зима в начале ноября. Снег покрыл землю, осеннюю черноту ее. Ольге с самого утра казалось, что снег прикрыл всю грязь, весь ужас, какой сотворили на земле люди. Оттого и был ангельский вид у жертвы этого ужаса.

Олесь смущенно и виновато улыбнулся ей:

— Прости, я взял бритву без разрешения... твоего. — Он говорил ей уже «ты», но каждый раз как бы конфузился при этом.

Ольга сразу взволновалась, встревожилась:

— Зачем ты встал? Нельзя же тебе еще. Такой

слабенький, — мог бы потерять сознание, упасть... с бритвой... А. тут ребенок...

— Да нет, ничего, как видишь, стою. Вначале голова кружилась.

— Не лежится тебе...

— Праздник же сегодня, Ольга Михайловна.

— Какой праздник?

— Как какой? — удивился и как-то странно опешил и растерялся парень. — Великого Октября... — Ему даже представить было трудно., что кто-то из советских людей мог забыть об этом празднике, где бы ни встречал его — на фронте, в оккупации, в лагере пленных, Его страшно потрясло, когда Ольга равнодушно протянула: «А-а...» — и занялась малышкой, подхватила на руки, вытерла ей носик подолом юбочки.

Не заметила Ольга, каким он сразу стал, опустив руку с бритвой, бледный, внезапно обессиленный — кровь ударила в голову, зашумела в ушах. Но у него хватило силы положить бритву на стол, рядом с блюдцем, где помазком вспенивал малюсенький кусочек мыла. Прозрачно-бледные, впалые щеки загорелись болезненным огнем — не пунцовым, фиолетовым каким-то.

— Нельзя так, Ольга, нельзя!

А она уже и забыла, о чем речь, и не поняла сразу:

— Что нельзя?

Олесь шагнул к ней, резко поднял руку, но только мягко и ласково дотронулся до ребенка.

— Нельзя забывать о том, что для нас самое дорогое. О празднике нашем самом великом и... обо всем, за что воевали наши отцы... Нельзя! За это отдали жизнь лучшие люди рабочего класса... Ленин... Что у нас тогда

останется? За что будем воевать с фашизмом? С чем пойдем в бой?.. Что останется ей, если мы обо всем этом забудем? — протянул он руку к девочке, а той показалось, что он зовет ее к себе, и она потянулась к нему от матери...

Ольга застыла, ошеломленная. Она слышала подобное, но никто и никогда не говорил так, как он, этот больной юноша, так горячо, так страстно. Чаще слова такие говорили с трибун, по радио, а он говорил их ей одной, и его даже лихорадило, далее загорелся весь, и голос дрожал от слез. Услышала она в его словах и другое: он бросал ей упрек — за жизнь ее такую, за торговлю. Упрек звучал во много раз повторенном: «Нельзя так». Что нельзя? А что можно? На минуту Ольга разозлилась: вот он как отблагодарил за то, что она сделала для него! Ах ты козявка! Хотелось ударить словами: «Пошел ты, недоносок! Почему же тебя твои лучшие люди не спасали? Почему они драпанули, народ в беде оставили?»

Но он продолжал говорить все так же горячо. Нет, он не упрекал ее, он просил, молил понять, что так нельзя, нельзя склонять голову и ждать, когда тебе на шею наденут ярмо, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, так сказала Долорес Ибаррури. Ольга вспомнила, она слышала эти слова, когда еще училась в школе, когда фашисты напали на испанский народ... Хотя их часто повторяли, тогда они не трогали ее, а сейчас, услышанные из уст человека, который едва выкарабкался, едва спасся от смерти, как-то непривычно, по-новому взволновали. Безусловно, фашисты — звери, жить под их гнетом все время она тоже не согласна. Чтобы Светку ее, когда вырастет, повезли на чужбину невольницей, надели хомут... О нет! Но пусть их разобьет наша армия, без армии никто ничего не сделает, думала она.

Слова Олесевы взволновали еще и потому, что горячность его сменилась полным изнеможением, и он пошатнулся, наверное, упал бы, если бы она не подхватила.

С ребенком в одной руке, обняв его другой, повела в боковушку.

— Ох, горечко мое! Говорила же, что не надо было подниматься. Видишь, снова жар. Сколько там того тела, нечему и гореть.

Олесь послушно прилег на кровать и посмотрел на нее уже другими глазами, виноватыми, попросил:

— Простите, — снова на «вы».

Ольга привыкла к его извинениям, но, пожалуй, ни одно не смутило ее так, как это.

Не зная, что ответить, спросила шутя:

— Побриться-то успел?

Олесь утомленно прикрыл веки.

— А я думала, что ты и не бреешься еще. Потому и не предлагала бритвы. Казалось, ничего же не растет. Так, рыженький пушок. А побрился — и правда похорошел. Хоть жени тебя.

Но глаза у него потухли. Не до шуток ему было. Ольга каждый раз пугалась, когда после возбуждения, лихорадочного блеска глаза у него вот так угасали, как у неживого.

Ольга разула его, он не сопротивлялся.

— Штаны помочь снять?

— Нет, нет... что вы! Я сам.

Ольга помнила, как страшно он сконфузился, когда очнулся и понял, что столько дней она ухаживала за ним, как ухаживает санитарка в больнице за тяжелобольным. Такая юношеская стеснительность умиляла Ольгу, она снисходительно разрешила, как маленькому :

— Ну хорошо, полежи так. Отдохни. Я накрою тебя

одеялом. Не так тепло у нас, чтобы лежать в одной сорочке после такого воспаления... Я тебе Адасев свитер дам, раз ты уже поднимаешься.

То обстоятельство, что парень этот сразу же так серьезно заболел (безусловно, он был и раньше болен, только держался в лагере из последних сил: ведь там свалиться — смерть), в чем-то помогло и Ольге, и ему, как говорится, не было бы добра, да беда помогла. Такой больной паренек (под одеялом — совершенный подросток), четыре дня не приходивший в сознание, незаметно и как-то естественно прижился у нее. Полицай, заглянувший в тот день за «калымом» — за стаканом самогонки, возможно, увидел у постели больного смерть, дежурившую там неотлучно, потому и удовлетворился коротким объяснением: «Родственник приехал из деревни и заболел. Боюсь, как бы не тиф». Услышав о тифе, Друтька не задержался в доме.

Соседи, правда, втайне шептались, что Леновичиха подобрала красноармейца, уже умиравшего и потому выброшенного немцами из лагеря — бери, кто хочешь (люди еще верили хотя бы в какие-то проблески человечности у фашистов), — и теперь выхаживает смертельно больного человека, как собственное дитя.

Одни не сразу поверили, другие удивлялись, третьи похвалили, сказав, что давно замечали: душевные качества у Ольги не в мать — в отца пошла, а старый кожевник Ленович прожил свою жизнь честно, коммерцией и плутнями не занимался и всегда старался помочь людям. Во всяком случае, Ольгин поступок был оценен высоко, он в каком-то смысле реабилитировал ее в глазах тех, кто тихонько бросал ей вслед, когда она шла, нагруженная узлами, на рынок: «Торговка! Немецкая шлюха!»

Впрочем, приведи она в дом здорового мужчину, еще неизвестно, что могли сказать и подумать, скорее всего вряд ли поверили бы в спасение пленного из патриотических побуждений. А тут поверили — ведь тетка Мариля рассказывала, в каком состоянии парень и как Ольга лечит его.

Действительно получалось так, что Олесева болезнь помогала ей, потому, наверное, и рождалась особая привязанность к нему, своеобразная благодарность. Все так хорошо складывалось, будто он приносил счастье. Друтьке она сказала про родственника просто так — от неожиданности, просто со страху, побоялась признаться, что взяла человека из лагеря. Рассказала об этом Лене, а та через два дня принесла справочку на имя Александра Леновича, уроженца Случчины, будто он лежал в больнице с какой-то непонятной болезнью, написанной по-латыни. Теперь Ольге необходимо было объявить, что это и впрямь ее родственник, что лечился он в гражданской больнице, но с наступлением морозов там стало так холодно, что парень в довершение к своей болезни схватил крупозное воспаление легких. Такой диагноз поставил доктор, которого Лена приводила, — воспаление и сильная дистрофия.

Друтька спросил на рынке:

— Как твой родственник? Выздоровел?

— Не выздоровел, но, славу богу, не тиф, воспаление.

Полицаи, целых трое, в тот же день приплелись за угощением. Посмотрели на Олеся, который уже очнулся, но от слабости едва мог слово выговорить, подбодрили:

— Ничего, будешь жив. Поправляйся. В полицию возьмем. Люди нам нужны.

Ольга на радостях угостила их щедро. Подвыпили, но к ней не лезли, стыдно все же им, паразитам, при больном человеке нахальничать, тетки Марили не стыдились, а больного постыдились. И это тоже понравилось Ольге к добавило еще крупинку чего-то доброго к больному — благодарности, симпатии.

Удивили его горячность в разговоре о празднике и обида, что она забыла о таком дне, самом великом, самом дорогом для него. Удивили и взволновали.

Впрочем, удивляет он не впервые. Несколько дней назад, когда немного оправился, во всяком случае глаза стали живыми, не с того света смотрели на нее, Ольга спросила у него мимоходом, как спрашивают у всех больных, когда замечают, что они поправляются:

— Может, тебе еще что-нибудь надо? Говори, не стесняйся, Саша.

Больной на минуту задумался.

— Книги. Есть у тебя книги?

— Книги?

Она очень удивилась. Сразу не поверила даже, чтобы у человека, который едва выкарабкался с того света, первой потребностью стали книги,

Книг у Ольги не было, одно Евангелие материнское осталось, но эту книгу она предложить не посмела, чувствовала — обидится парень, комсомолец же, конечно. Были в доме школьные учебники, журналы советские, она сожгла их в печке, подальше от греха, а то еще, чего доброго, прицепятся немцы, прятать их не стала, хватает более ценных вещей, которые пришлось закапывать темными ночами в огороде и делать для них тайники в погребах. Не до книг было, что для нее книги!

Олесь ничего не сказал, но, по глазам увидела, удивился, что в доме нет ни одной книги. Ольгу даже немного обидело это, подумаешь, счастье — книги!

— Какие тебе книги нужны? — спросила она.

— Хорошо было бы поэзию. Классику. Пушкина. Лермонтова. За классику не бойся.

Ольга сказала об этом Лене. И снова ее задело за живое, что Лена нисколько не удивилась, будто знала наперед, что может понадобиться такому парню.

Через день или два Лена принесла книгу — толстый

томик в самодельной, из желтого картона, обложке, на ней химическим карандашом было написано: «Александр Блок».

Ольга не слышала раньше о таком писателе.

— Немец, что ли? — спросила она у Лены.

— Да нет, наш, русский. Но символист, — ответила Боровская.

Ольга вспомнила, что, кажется, в восьмом классе учитель литературы, сам поэт, что-то рассказывал им про каких-то символистов, но прошло так много времени, случилось так много событий в жизни, что она все забыла, для нее это пустой звук — символисты, реалисты.

Олесь спал, когда Лена приходила. Ольга потом, вечером, с некоторой даже торжественностью, как подарок имениннику, поднесла ему книгу.

Обложка, возможно, его немного смутила. Но развернул книгу — и будто встретился с давним своим другом, засиял весь.

— Блок! Боже мой! Блок! Дореволюционное издание... Спасибо вам!

Ольге была приятна его радость, и она не призналась, что книгу принесла Лена Боровская, пусть думает, что сама она выбрала как раз го, что ему нравится, что и она в чем-то разбирается.

А потом он удивил ее еще больше. Когда сильно уже подморозило, прибежала она с рынка, окоченев от холода, чтобы накормить дочку и больного. Марилю теперь не приглашала, чтобы лишнее не платить; хотя Олесь и лежал еще, но уже мог оставаться вместо няньки, играл с малышкой, которая сама влезала к нему на кровать, и у него хватало сил переодеть ее в сухие штанишки.

В тот день Ольга продавала свеклу. Остатки, которые не

успела продать, поручила соседке — была у торговок, как в каждом цехе, своя солидарность и взаимовыручка. Но все равно приходилось спешить: на рынке остались корзины, мешки, их нужно забрать, ноябрьский день короткий, скоро полиция начнет всех разгонять, а соседка по рынку живет на другой улице, далеко.

Олесь ел сам, сидя в кровати, под спину ему Ольга подсунула подушку, чтобы легче было сидеть.

Ольга второпях накормила дочь и подсвинка, которого прятала в хлеву, за штабелями наколотых дров, и за которого очень боялась: если и немцы не ограбят (из-за кабанчика она улещивала и немцев, и полицаев), то свои могут украсть, голодных в городе тьма.

Заглянула в родительскую спальню, чтобы забрать тарелку, и увидела: забыв о еде, Олесь читал. Упрекнула:

— А ты уже читаешь?

Он посмотрел на нее влажными глазами и вдруг попросил:

— Посиди со мной минутку. Я почитаю тебе стихи. Послушай, какая это красота.

— Не до стихов мне, — отмахнулась она.

— Нельзя же жить... — Ольга догадалась, что он хотел сказать, но не сказал, поправился: — Нельзя же весь день на ногах. Я не представляю, когда ты отдыхаешь. Даже ешь стоя.

Такая неожиданная просьба, и забота о ней, и то, что он впервые заговорил с ней просто, как всегда обращался к Лене, сразу тревожно и радостно взволновали Ольгу. Она послушно села на кровать у его ног, по-крестьянски положила огрубевшие от работы, красные от холода руки на колени.

Сначала он читал стихи о любви, не по порядку, выбирал их из разных мест книги.

Для кого же ты была невинна

И горда?

Ольгу стихи сначала не тронули, она подумала с грубоватым озорством: «Ишь ты, на ладан дышит, а о любви думает». Но потом случилось что-то невероятное. Стихи, как домашнее тепло или хорошее вино, понемногу размягчали ее застывшую душу, вдруг вспомнилось детство, потом все близкие, родные, никогда они так не вспоминались ей — все сразу: и родители покойные, и Адась, и Павел — фронтовики (живы ли они?), и Казимир, который пошел работать к немцам и страшно ругался за пленного, говорил, что, когда немцы возьмут ее за жабры, пусть не надеется на его помощь, но она ответила, что никогда и не рассчитывала на старшего брата, не ждала, что он чем-то поможет... Сделалось грустно. От воспоминаний или от стихов? Такого она, пожалуй, еще не переживала: быстро, как во сне, одни чувства сменялись другими, все вдруг будто перемешалось, забурлило, точно в котле, на поверхность всплывало то одно, то другое — то легкая печаль, то тревога, то непонятная радость, то острая боль, то страх...

Почти ужас охватил, когда Олесь шепотом прочитал:

*Плачет ребенок. Под лунным серпом*
*Тащится по полю путник горбатый.*
*В роще хохочет над круглым горбом*
*Кто-то косматый, кривой и рогатый.*

Представилось косматое страшилище, с появлением которого наступит конец света. Хотя книга и старая с виду, но очень может быть, что человек этот, поэт, был пророком и смотрел далеко вперед. Может, он сегодняшнее страшилище видел, когда плачет ребенок и ветер молчит, но близко труба, да ее не видно в темноте. Ой, не видно! Пусть бы затрубила быстрее!..

А потом было грустное и светлое, будто Олесь говорил о своем — что дорога его тяжелая и далекая, а конь устал, храпит и неизвестно, где родное пристанище, но

где-то далеко-далеко, за лесом, поют песню, и от этого легче дышится, если бы не было ее, песни, то и конь бы упал, и он никогда не доехал бы, а так, верит — доедет. Куда? К чему? Все равно. Лишь бы была вера! Лишь бы была вера! Во что? Она сама хорошо не знала, во что верить ей, она просто никогда серьезно не задумывалась над этим. А стихи, странные, малопонятные, заставили задуматься. Действительно, во что ей верить? В бога? В Сталина? В неизвестного трубача, который даст сигнал и поднимет народ?

Возможно, она что-то сказала, или подумала вслух, или, может, вид у нее сделался необычный, потому что Олесь вдруг перестал читать и внимательно всмотрелся в нее.

— Читай, Саша, — пошевелила она губами, которые вдруг запеклись, будто их опалил жар.

— Нравится? — радостно спросил он.

Тогда Ольга встрепенулась: очень уж странно и непривычно ведет себя она! Стихами может увлекаться он, юноша, интеллигент, у него мать учительница, а ей смешно так раскисать от стишков. Скажи пожалуйста, как убаюкал, даже душа оттаяла, действительно чуть не до слез довел! А ей такая мягкотелость совсем ни к чему, тут только покажи слабость, тебя сразу съедят, вокруг волки, чтобы с ними жить, нужно по-волчьи выть, а не порхать пташечкой и не заливаться песнями.

— Он что... в бога верил? — спросила она вдруг.

— Кто?

— Да этот... Блок.

Олесь смутился, не ожидал, что из услышанных стихов женщина сделает такой странный вывод.

— Да как сказать... Тогда еще многие верили... Но Блок принял революцию.

— Вот видишь: кто в бога верил, тот и писать хорошо

умел, — назидательно, как мать сыну или учительница ученику, сказала она.

— Ну, знаете ли, — несмело возразил Олесь, — это не совсем так. Многие великие писатели не только нашего столетия, когда изобрели радио и человек взлетел в воздух, но жившие раньше, например, в средние века, были убежденными атеистами.

— Кем?

— Неверующими. Сервантес... Берне... Вольтер...

— Прочитай еще, — прервала она. — Ты хорошо читаешь. У тебя хороший голос. Девичий.

— Это от слабости.

— Тебе тяжело читать?

— Нет, нет, читать не тяжело, — будто испугался он и начал быстро листать книгу, выискивая, что еще почитать ей; конечно, хотел найти такое, что тронуло бы ее. Вряд ли смог бы объяснить, почему остановился на том произведении? Совсем же не хотел убедить Ольгу, что Блок и впрямь был набожным человеком. Или, может, ему показалось: именно это стихотворение поможет ей понять, что дело не в словах, даже не в сюжете, великие художники прошлого писали на библейские сюжеты, а в действительности отражали свою эпоху и людей, которые жили с ними рядом. Так и в этих стихах: ангел-хранитель — живой человек, женщина. Он прочитал несколько строчек про себя, шевеля губами, потом с усилием проглотил слюну. Ольга посмотрела на его шею, такую худую и прозрачную, что, казалось, видно было каждое выговоренное им слово, и какие они, его слова, — круглые, острые, легкие, тяжелые...

*Люблю тебя, Ангел-Хранитель, во мгле,*
*Во мгле, что со мною всегда на земле.*

Прочитал и остановился будто в нерешительности, или, может, спазма стиснула горло.

Первые строчки Ольга выслушала равнодушно, только улыбкой подбодрила: читай, мол, дальше. Что-то, как тяжелая льдина, стронулось в душе, когда он все еще шепотом прочитал:

*За то, что нам долгая жизнь суждена,*
*О, даже за то, что мы муж и жена!*

Но пока это только напомнило о той неизвестности, что ждала их в недалеком будущем, о чем она уже думала и тревожилась, волновалась: к чему приведет ее необдуманный поступок? кем этот парень станет в ее доме, когда поправится?

Она вздрогнула, когда голос его вдруг зазвенел решительно и гневно:

*За то, что не любишь того, что люблю,*
*За то, что о нищих и бедных скорблю.*
*За то, что не можем согласно мы жить,*
*За то, что хочу и не смею убить —*
*Отмстить малодушным, кто жил без огня,*
*Кто так унижал мой народ и меня!*

«Боже мой! — подумала Ольга. — Так это же он о нас, о себе и обо мне... что мы о разном думаем... и по-разному жить хотим...»

На какое-то мгновение даже усомнилась, что в книге так напечатано. Уж не выдумал ли он сам все, пока лежал тут один? Это ее почему-то особенно взволновало и испугало. Она обернулась, посмотрела в окно, на грушу, к веткам которой примерзли редкие почерневшие, сморщенные листья. А он даже раскраснелся и ничего уже не замечал вокруг себя, обо всем забыл, и голос его — нет, совсем не девичий, не слабый! — становился с каждым словом громче, и ничто его не могло остановить. Только в одном месте он всхлипнул, на словах: «Люблю я тебя и за слабость мою». За свою собственную слабость тоже любит... Это правда, бывает и так. Недаром бабы говорили: слабый любит крепче. Но больно ему, что слабый он, недужный.

Окончил он уже не шепотом, но голос его слабел с каждым словом:

*Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идем?*
*Вдвоем — неразрывно — навеки вдвоем!*
*Воскреснем? Погибнем? Умрем?*

Может, ему хотелось плакать, потому что он закрыл глаза. И книга обессиленно упала ему на грудь, прикрытую одной белой сорочкой. Часто-часто билось его сердце. Ольга видела, как жилка пульсировала на его худенькой, с тростиночку, шее.

Ольга осторожно взяла книгу, но, развернув ее, не могла найти тех стихов, а листать не отваживалась, не хотела нарушать внезапно наступившую тишину, потому что появилось в ней, в тишине, что-то таинственное, загадочное, непонятное, но желанное.

В тишине они и раньше часто сидели, когда больной был еще совсем слабым и ему тяжело было говорить, но если он не спал, Ольга быстро двигалась, гремела, стучала, говорила о его болезни, о погоде, о новостях, услышанных на рынке, считала, что больному на пользу такая ее жизнедеятельность. А тут сердцем почувствовала, что ему теперь нужна не тишина одиночества, а ее молчаливое присутствие. Да и у самой появилась потребность помолчать после только что услышанных слов, А что это за слова? Она так легко запоминала все, а тут не может вспомнить ни одной строки этой чудесной песни или молитвы, помнила только смысл простых слов да чувствовала сложную музыку их, все еще звучавшую в голове, в сердце.

Оглянулась — почему не слышно Светки? Очень удивилась: дочь спала в «зале» на ватном одеяле, там же, где играла с деревянными кубиками. Дитя есть дитя, его то не уложишь, то засыпает неожиданно. Но заснула в странном положении, в сущности сидя, положив голову на большого, полинявшего уже плюшевого мишку, Ольга принесла его из чужой квартиры в первые дни войны и почему-то не любила, а Светка любила. Почти с суеверным страхом подумала:

неужели и дитя он убаюкал этой молитвой? Наслушалась комаровских баек про книги-магии, каждое слово которых имеет чудесную силу — завораживает, привораживает, лечит, заживляет раны. Потому подумала: уж не такая ли и эта книга? Он ожил за какие-то три дня, получив книгу. А ее заколдовал за полчаса.

Нужно уложить Светку в коляску. Прикатить коляску к его кровати, чтобы покачал, если ребенок будет просыпаться. И скорее бежать на рынок — за мешками и корзинами... Но Олесь лежал с закрытыми глазами, обессиленный волшебными стихами, и она не решалась пошевелиться.

Потом прозрачная рука его начала искать на груди книгу, — значит, не слышал, как Ольга брала ее. Не нашел — удивился, раскрыл глаза, посмотрел на Ольгу виновато и смущенно.

Она сказала, как маленькому:

— Спи.

— Нет, я не засну.

— Покачай Свету. А то вон где заснула. — И пошла к дочери.

Остаток того дня, весь долгий осенний вечер и ночь Ольга думала о стихах, ей даже приснилось что-то необыкновенное, таких снов у нее никогда раньше не было: светлые хоромы, дворец или храм, множество людей, все держали такие же книги, как молитвенники, и все шептали красивые слова, одна она без книги, обойденная кем-то, мучилась от обиды, жадно ловила знакомые слова, но — новая мука! — не могла повторить их, не запомнила ни одного, а ей так хотелось повторить эти слова. Ходила среди людей с книгами и искала е г о, знала: если найдет, то сразу вспомнит все слова, без которых ей невозможно дальше жить: на мгновение он появлялся, но тут же исчезал, не прятался, а как бы таял или скрывался в белом тумане.

А потом ее схватил в объятия полицейский Друтька и начал домогаться срамного, угрожал, что если она не ляжет с ним, то он донесет немцам, кого она прячет у себя, и их обоих повесят на Комаровском рынке.

Проснулась в холодном поту. Колотилось сердце. Но вспомнила сон и повеселела, показала Друтьке фиту, уверенная, что теперь любые домогания всех друтьков будут напрасны, нет, не только потому, что в доме живет о н, — она сама обрела какую-то новую силу.

Утром, когда Олесь еще спал, Ольга тихонько взяла книгу, нашла стихотворение «Ангел-Хранитель». Прочитала раз, другой, третий... Закрыла книгу и очень обрадовалась, что почти все запомнила, еще раза два заглянула в книгу и выучила наизусть, так быстро и в школе не выучивала. Радовалась, как дитя, что у нее хорошая память, что не оправдался страшный сон и что никакой магии нет, обычная книга.

На другой день, согреваясь на рынке у жаровни, предложила подругам-торговкам:

— Хотите, бабы, расскажу стих? Со школы помню.

— Давай, Олька, повесели, может, душа оттает, а то примерзла к ребрам.

Не поняли бабы серьезности слов, которые она произносила с заметным волнением, посмеялись; одна сказала, что такое может придумать только тот, у кого нет мужской силы. Ольга обиделась, ей показалось, что слова торговок оскорбляли Олеся, больного человека. А потом испугалась, когда старшая из торговок, полька Регина, спросила у нее таинственно, один на один:

— Это он написал такое, твой?

— Нет, это не он. Это Блок...

— Какой Блок? Что ты несешь? — И еще больше напугала, посоветовав: — Никому, глупая, не рассказывай свои стихи. А то вылезла посреди рынка. Смотри, как бы под веревку не подвела и его, и себя.

Люди теперь хуже собак. Брякнет который, а ветер разнесет...

Пришла Лена Боровская. С тех пор как они не виделись, за неделю, она похудела еще больше и одета была уж совсем не по-девичьи: солдатские кирзовые сапоги, на голове не платок, а одеяло какое-то, только пальто все то же, ветром подбитое. И впрямь не девушка, а старушка. Наверное, белый пуховый платок выменяла на продукты. Известно, когда голодаешь, ничего не пожалеешь, не до нарядов тогда. Но Ольга убедилась, что об одежде и еде сейчас лучше не говорить: люди обижаются и злятся. Лена тоже, был у них уже такой разговор. Потому Ольга сделала вид, что ничего не заметила. Но и радости при появлении подруги не проявила. Поздоровалась сдержанно.

Вначале согласно посетовали на раннюю зиму. Но потом Лена вдруг сказала:

— Но зато и фашисты почувствуют, что такое русская зима. По улицам не ходят — бегают с подскоком, как гончие. Весь форс утратили.

Ольга спросила, как чувствуют себя старшие Боровские. Лена помрачнела и ответила почти с укором:

— Пришла бы, проведала. Мама часто вспоминает тебя.

Ольга подумала, что нет, не пойдет она к Боровским, хватит того, что Лена ходит к ней. Вообще стоило бы как-то прервать такую дружбу — ради безопасности своей. Ради ребенка своего и его, Олесевой, безопасности. Он тянется к этой комсомолке. Поссориться с ней, что ли? Но не здесь. Хорошо было бы на людях, на рынке, например. Конечно, совсем терять дружбу с Леной не стоит, немало она сделала и полезного — повела ее в лагерь, помогла со справкой для Олеся, достала книгу, — но Ольге не нравилось, что подруга навещает Олеся, и тот радуется ее приходу, и они как-то ближе друг другу, чем она, Ольга, и он. За несколько дней необычное действие стихов,

смягчивших душу, ослабло, и она вновь сделалась прежней Леновичихой и осознавала себя именно такой, хотя знала, что люди ругают ее и некоторые называют очень жестоко — волчицей. Но это не особенно огорчало ее. Она верила, что только будучи такой, пусть себе и волчицей, можно прожить, не очень горюя.

Слова Олеся о празднике и о том дорогом, за что не следует жалеть жизни, только на миг вознесли ее над грязной и суровой обыденностью. Но слова те и испугали. Страх почему-то охватил в погребе, куда полезла за продуктами для обеда и где у нее были спрятаны самые дорогие вещи. Вот почему появление Лены в такой день не понравилось. А когда Лена, поговорив с ней для приличия минутку, пошла из кухни в комнату, — к нему, конечно, пошла, — Ольга просто возмутилась, закипела гневом. Скажи, пожалуйста, как хозяйничает в чужом доме! Ревизор объявился! Хотя бы разрешения попросила или придумала для предлога что-нибудь: как, мол, там Светка?

Подумав, Ольга заставила себя остыть, чтобы и правда не поссориться с Леной. При нем. При нем ей совсем не хотелось показывать худшее в своем характере. При нем хотелось быть доброй.

Лена была у него, сидела там же, на кровати, в ногах, где сидела она, Ольга, когда он читал стихи. Такая их близость опять отозвалась у Ольги знакомой ревностью: «Ишь ты, где уселась! Как своя!» Но, увидев, что у парня мокрые глаза, поразилась. Мужчина плачет? Отчего? Что Лена сказала такое? Какие у них могут быть секреты?

Накинулась на Лену будто шутя, но слова были жесткие и голос холодный, как осенний ветер:

— Приходишь и расстраиваешь больного человека! Хватит у нас своих бед, нечего нам плакать над твоими. Плачь над ними сама, в подушку, если хочешь, чтобы на сердце полегчало. Теперь слезы на люди не выносят. Холодно. Замерзнут...

Лена лучше чем кто-нибудь другой знала молодую Леновичиху, со школьных лет много раз с ней ссорилась, мирилась и привыкла уже не придавать особого значения ее словам, которые Ольга бросала везде с базарной легкостью, всем «отмеряла» и «давала сдачу». Но сейчас сказанное ею смутило и обидело девушку. Бледное лицо ее загорелось, она не находила, что ответить, какие слова подобрать. Не ссориться же! Не унижаться же перед торговкой! Но и смолчать нельзя! Выручил ее Олесь — с детской простотой и простодушием признался:

— Своих бед Лена не приносила. Радость принесла... С праздником поздравила, победы пожелала. Потому я растрогался. Не обращайте внимания на мои слезы. Я сентиментальный.

О самом главном, что вызвало радостные слезы, не сказал: Лена сообщила о вчерашнем торжественном заседании в Москве, на котором выступал Сталин.

Слова его примирили женщин. Лена порадовалась, что то главное, о чем она сообщила ему тайно, шепотом, он не выдал, как бы подтвердив этим свое согласие бороться и проявив необходимые качества подпольщика. А Ольгу тронули его и впрямь детская непосредственность и прямодушие. Помня, как он говорил о празднике, она поверила, что само поздравление могло его растрогать, и все это, так же, как и стихи, и слова его о революции, Родине, снова как-то по-хорошему очистило ее самое — посветлело на душе, будто загорелись там торжественные праздничные огни. Правда, опять возникло и ревнивое чувство: она даже забыла об этом их празднике (так и подумала — их, все еще отделяя себя), а вот Ленка эта, изнуренная, изголодавшаяся, кожа да кости, не забыла, безусловно, нарочно пришла, чтобы поздравить. Бот что, выходит, их связывает, сближает. Но это и успокоило — хорошо, что не что-то другое. Странные. Дети. Опасно это теперь. Впрочем, дети часто тянутся к опасному, А разве она не рисковала, когда брала его из лагеря, поселяла у себя? Еще как рисковала!

Избавившись от нехороших мыслей, Ольга сразу повеселела, и ей тоже захотелось сделать что-то доброе. Она предложила:

— А знаете что? Давайте отметим его, праздник, как до войны. Обед царский приготовим. И выпьем хорошенько! Сказать, что у меня есть?

— «Московская»? — обрадованный ее порывом, засмеялся Олесь.

Ольга погрозила ему пальцем.

— Ша! Болтун! «Московская» — само собой. — И сообщила таинственным шепотом: — Советское шампанское!

— О боже! Чего у тебя нет! — проглотила голодную слюну Лена.

— А у меня все есть. Не была бы я Леновичиха, — шаловливо, на одной ноге, повернулась Ольга. — Пойдем, поможешь мне. А ты лежи, не поднимайся, пока не позовем, — приказала Олесю.

# IV

Олеся удивляли и Ольгина щедрость, всегда неожиданная, и ее скаредность, более постоянная, но не менее непонятная. У нее был керосин, запаслась в начале войны, всем запаслась, что в оккупации приобрело особенную цену, но жечь не давала даже ему, гостю, а ему так хотелось почитать вечером. Книги по его просьбе находила и приносила, но по вечерам командовала, как строгий старшина: «Спать!»

Электроэнергию оккупанты давали только в центр города — в учреждения, на вокзал, в дома, где размещались немцы. Окраины жили в темноте, с керосиновыми лампами и лучиной. А вечера ноябрьские длинные. И сон не приходит так рано. В это время мозг возбужден как никогда: впечатления дня, воспоминания, бесконечное течение мыслей... В

темноте необычайно обостряется слух, и Олесю казалось, что он слышит весь город — не только свист далеких паровозов, лязг буферов, грохот ночного грузовика или танка, выстрелы, крики, топот ног, — но и то, что слышат не многие, — крик боли, стон, плач, рыдания, предсмертный вздох, страшный смех, проклятья и пьяный содом убийц. Он слышал это сердцем. И оно болело не меньше, чем если бы Олесь слышал все это своими ушами, видел воочию.

За деревянной перегородкой в соседней комнате не спала Ольга, ворочалась, вздыхала, чаще, чем нужно, поднималась к дочери. И это его тоже волновало и тревожило — ее вздохи. Он все еще никак не мог понять эту женщину. Зачем взяла его? Почему так заботливо выхаживает? Когда и какую плату потребует за то, что сделала для него?

Молодой романтик, не знающий страха после всего пережитого, он не думал и не представлял, что в долгие бессонные вечера и ночи над всеми Ольгиными чувствами господствовало одно — этот самый страх; он заглушал все другие человеческие желания и мысли, как бы замыкал их в темную и тесную камеру, где они трепетали, бились, как пойманные птицы, и не могли найти выхода. Такой сильный страх появился после празднования Октября и одолевал Ольгу, когда она ложилась в кровать. Она мучилась многие часы, пока наконец, устав, не забывалась беспокойным сном. А наступал день — и все ночные страхи казались если не смешными, то, во всяком случае, сильно преувеличенными. Днем Ольга жила обычной жизнью, действенной, активной. Такая жизнь казалась, единственным спасением. О богатстве она думала теперь меньше, но голодать, как Боровские, не хотела, кроме того, была убеждена, что безопасность зависит и от благосостояния: одному гаду дашь в лапу, другого подпоишь...

Ей очень хотелось в такие вечера дольше посидеть с Олесем, послушать, как он читает стихи, объясняет их, как говорит... Но, во-первых, действительно жаль было

керосину. И все же главная причина была иная. Бояться она стала его слов о родине, о народе, об их бессмертии, о победе, которой не может не быть рано или поздно. Боялась потому, что не могла уже не слушать его, не могла приказать замолчать или хотя бы скептически улыбаться: мол, пусть потешится мальчик, ведь иных радостей у него нет. Нет, он заставлял ее слушать серьезно, с волнением, и она испугалась, в глубине души понимая, что это может сломать ее привычную жизнь, нарушить душевное равновесие. А потом начала принимать страх как божескую кару за свою неправедную жизнь, за неразумные поступки и грешные мысли. И — свыклась с этим чувством, оно казалось совершенно нормальным в ее положении. Если бы страх вдруг исчез в один из вечеров, Ольга, наверное, испугалась бы еще больше.

Они лежали без сна в смежных комнатах, каждый думая о своем, и, конечно, машину услышали одновременно, как только она въехала в их переулок, куда и днем они попадали редко. Машина была не тяжелая, шла медленно. В одном месте, кажется, на замерзшей луже, забуксовала, и мотор завыл с надрывом, разбудив, наверное, всех в округе.

Ольга, едва живая от страха, молилась, чтобы пронесло мимо. Пускай останавливаются около Кудлача... Нет, Кудлача, кажется, проехали уже... Около Кацманов... Кацманов еще в сентябре загнали в гетто... Где хотят пусть останавливаются, только не у ее дома.

Сноп света ударил в окна «зала». Машина остановилась у самых ворот.

Ольга вскочила с кровати с единственной мыслью — спрятать Светку! Но куда спрятать? Лучше ребенка не трогать. Растерянно остановилась в дверях спальни в одной сорочке, напряженно прислушиваясь, что они будут делать, с чего начнут. Не слышно, чтобы спрыгивали на землю солдаты, громыхали в ворота. Да и откуда спрыгивать? Ясно же, что это легковушка... Но оттого, что подошла легковая машина, сделалось еще страшней. Что им нужно? Кто нужен? Этот больной

бедняга, что едва не отдал богу душу?

Олесь с осени сорокового служил в кадровой армии, в артиллерии, только в начале войны перешел в газету, в которой раньше печатал стихи. Во время учебных тревог он умел первым одеваться и первым выбегать на линейку. Первым он выскочил из землянки и когда редакцию окружили немцы.

Привычки армейские сохранились и в Ольгином доме: как только выздоровел, складывал свою гражданскую одежду около кровати так, что мог в темноте одеться за какие-то секунды. Хотя знал, что убежать или спрятаться вряд ли возможно. Просто хотел опасность и, если случится, смерть встретить в подобающем виде, чтобы не уронить человеческое достоинство.

Еще не успели постучать в ворота, а он уже был на ногах, в полной форме. Не сомневался, что приехали за ним. Не испугался. Но до слез стало обидно, что так и не успел ничего сделать. Хотя бы одного фашиста убил! Если бы у него была граната или пистолет! Хотя все равно ничего бы не сделал — в доме женщина и ребенок... Ребенок! Об этом нельзя забывать! У него осталось одно: подбодрить Ольгу и поблагодарить, пусть знает, как мужественно идут на смерть советские воины! Во всяком случае, слабости он не должен показать ни ей, ни врагам!

Ступил в «зал», увидел в двери белую фигуру женщины. Нельзя, чтобы она предстала перед ними в таком виде.

— Оденьтесь, Ольга Михайловна!

Пока он зажигал лампу, она накинула на сорочку старое пальто и снова стала на пороге спальни, босая, взлохмаченная. Он догадался, что она охраняет ребенка. Как птица. Это растрогало. Если они тронут ребенка, он будет защищать зубами и руками. Пожалел, что не положил близко топор. Ольга раньше клала его на стул около окна — от грабителей. Он сказал тогда: теперь одни грабители — с автоматами, топором от них не оборонишься.

— Спасибо вам, Ольга Михайловна. — Вот это нужно было сказать обязательно, без этого он не мог бы оставить дом. — Дадите мне что-нибудь надеть, самое старое, ненужное.

Она всхлипнула.

Заколотили в двери. Калитку Ольга не могла не закрыть, значит, кто-то из них перелез через забор. Она бросилась было, чтобы открыть, но Олесь остановил ее

— Обуйтесь. — И крикнул: — Айн момент!

Они уже грохотали сапогами или прикладами так, что звенели стекла.

Олесь отодвинул задвижку, в дверь распахнули с такой силой, что она ударила его но ногам, от боли он едва не потерял сознание. Ворвалось трое. Но его не тронули, сразу бросились в дом. На какое-то мгновение он остался один в коридоре. Перед крыльцом никого не было, за забором мирно урчал мотор автомашины. Подумал, что ему можно выйти, броситься на огород, перелезть в чужой двор... Нет, не мог он и это сделать — оставить ее одну, чтобы они издевались, мучили ее и ребенка за то, что он убежал.

Он вошел следом за ними в освещенный лампой «зал». Все трое были в черных кожаных пальто с меховыми воротниками и высоких фуражках со свастикой на кокарде, высокие, как на подбор, — молодые, красивые. Олеся еще в лагере удивляло и оскорбляло, что фашисты бывают внешне красивыми, это не соответствовало их душевному облику и поведению.

Один из них держал пистолет, угрожал Ольге и повторял одно и то же:

— Гольд? Во ист гольд? Гольд!

Очень знакомое слово, но что оно значит, Олесь никак не мог вспомнить, словно отшибло память.

Ольга стояла там же, в дверях, заслоняя собой спальню,

где осталась Свата. Запахнула пальто обеими руками, сцепив их на груди. Она так и не успела обуться, стояла босая, и Олесь обратил внимание на ее ноги, неестественно белые. Неужели от страха белеют ноги? Лицо не было бледным, только губы посинели и шевелились беззвучно. Ольга пожимала плечами, не понимая, чего от нее требуют.

Тем временем двое других открыли большой зеркальный шкаф и начали перебирать многолетний нажиток семьи Леновичей — пальто, шубы, костюмы, кофточки, белье. При этом очень тренированно, как шпики или профессиональные грабители, обшаривали карманы, ощупывали швы, вещи бросали на пол. Тот, кто стоял с пистолетом, наиболее ценное отбирал и складывал на стол.

«Гольд? Гольд? — вспоминал Олесь. — Кажется, деньги. Какие деньги? Зачем им деньги? Чушь какая-то». Почувствовал со страхом, что в голове туман, все перемешалось, как в страшном сне, и если его заберут, ему не выдержать пыток. Он чувствовал себя еще больным.

Ольга, сбросив вдруг оцепенение, сорвалась со своего поста у двери, кинулась к комоду, где стояла посуда, из фарфоровой салатницы достала пачку документов, начала показывать их гестаповцу с пистолетом, громко и смело, как на рынке, объясняя, что все у нее есть — справка на родственника, который выписался из больницы, на право торговли и что налог она уплатила, тыкала пальцем в немецкие печатки на бумагах.

— Вот, пусть пан посмотрит! Все по закону! По немецкому! Я люблю немецкий порядок! Гут дойче! Гут! Сталин капут!

Больше, чем само появление гестаповцев, Олеся испугали Ольгины слова. Что она говорит? Это же предательство! Не нужно ему такое спасение! Но снова подумал, что не только его хочет Ольга спасти — себя и ребенка, возможно, в первую очередь, поэтому он вынужден молчать.

Гитлеровец глянул на документ и даже удивился:

— Хандаль?

— О да, пан офицер! Гандаль! Гандаль! Я ист гандаль!

Но документы их мало интересовали. Они искали другое. Показывая документы, Ольга забыла о своей одежде, пальто распахнулось, и открылась сорочка, правда, непрозрачная, ситцевая, но отделанная сверху, на груди, и снизу, на подоле, кружевом, через которое просвечивала полная грудь еще недавно кормящей матери. Один из тех, кто перебирал одежду, жадными глазами уставился на ее грудь.

Олесь внимательно следил за ними и сразу заметил взгляд фашиста, его глаза, мгновенно ставшие маслеными, хищными. Немец бросил платье и, ступая по куче одежды, пошел к Ольге. За короткую минуту Олесь почувствовал, возможно, самый большой страх в своей жизни и самую отчаянную решимость заслонить собой женщину, жизнью своей защитить ее. Если дотронутся до нее, он бросится на них, вцепится зубами! Нет, лучше вырвать пистолет у того, кто рассматривает документы и не обращает внимания на Ольгу. Да, снасти ее можно, захватив пистолет, не иначе! И Олесь тоже ступил к столу вместе с гитлеровцем, шаг в шаг, рассчитывая каждое свое движение. Но тот через стол показал пальцем на грудь и выкрикнул:

— Золёто!

Почему-то, увидев женскую грудь, немец вспомнил, как по-русски называется то, ради чего они ворвались сюда.

Тогда и тот, что стоял с пистолетом, тоже встрепенулся, обрадовался:

— О-о, золёто! Во ист золёто?

— Ах золото?! Вам нужно золото? — обрадовалась Ольга и, сообразив наконец, что под пальто на ней одна сорочка, быстренько застегнулась на пуговицы и

воротник подняла. — Так сразу бы и сказали. А то кто вас знает, что вам нужно!

Она наклонилась, открыла нижний ящик комода, выхватила оттуда картонную коробку, поставила на стол и начала выкладывать из нее серебряные ложки, вилки, позолоченные ложечки, кольца, брошки, какую-то мелочь. Все трое немцев наклонились над столом, взвешивали каждую вещь в руках, смотрели на свет, прикидывали ее ценность и о чем-то горячо спорили.

Олесь обессиленно опустил руки: угроза самой Ольге, кажется, миновала. Из их разговора со своим школьным знанием языка он улавливал только отдельные слова, да и то не очень напрягался, чтобы понять. В конце концов, это будет редкий и, пожалуй, счастливый случай — для него и Ольги счастливый! — если гитлеровцы ограничатся одним грабежом.

Но ненасытности их, алчности нет предела. Ольге они, конечно, не поверили, что выложено все. Снова потребовали, повторяя уже по-русски в два голоса (третий молчал, он больше действовал):

— Золёто. Во ист золёто?

— Ниц нема, пан. Вшистко, — почему-то по-польски объясняла им Ольга, показывая руки: мол, раз на пальцах нет даже колечка, значит, нет больше ничего.

Они искали. Вывернули все из шкафа, из комода, распороли диван. Полезли в спальню. Ольга попыталась опередить их, чтобы взять сонную Светку, — ей загородили дорогу.

— Ребенок! Ребенок там! — в тревоге объясняла она.

— Киндер! — сказал Олесь.

Услышав от него немецкое слово, они взглянули с удивлением. Но все же разрешили взять из кровати ребенка. Малышка проснулась и заплакала. Ольга прислонила ее головку к плечу, старалась, чтобы она не видела этих страшных людей, которые переворачивали

постель и вещи. Вышла со Светой в «зал», хотела пройти дальше, на кухню, — ее не пустили.

К счастью, девочка вновь заснула. Чувствуя детское тепло, родное дыхание, Ольга успокоилась, снова появилась уверенность, что все как-нибудь обойдется. При всей торгашеской алчности случались у нее и раньше моменты, когда она ничего не жалела, никакого добра. Но в такие минуты и сама себя не жалела. А тут было иначе: на безжалостный, хуже пожара, разгром в доме смотрела совершенно спокойно, но молилась богу, чтобы они не тронули ни его, Олеся, ни ее дочери. Впервые не разумом еще, сердцем, она объединила дитя, себя и его в одно нераздельное. С родным отцом ребенка никогда не чувствовала такого душевного единения, но ведь тогда, в мирной жизни, не случалось, чтобы угрожала такая опасность.

Когда обыскивали кухню, уже спешили, офицер с пистолетом посматривал на часы; спешили, видимо, потому, что просигналила машина, — их звал кто-то старший. Но когда нашли лаз в погреб, выкопанный под кухней, насторожились, как гончие, почувствовав близкую добычу, заболботали что-то по-своему, видимо решая, кому спускаться в подземелье. Фашист с хищными глазами глянул на Ольгу, явно намереваясь заставить лезть в погреб ее, а он, возможно, полез бы следом. У них были карманные фонарики, посвечивая ими, шарили в спальне, но, направляясь на кухню, вспомнили о лампе и приказали Олесю захватить ее из «зала». Пока они шныряли по шкафчикам, заглядывали в плиту, Олесь держал лампу и чувствовал себя от этого уверенней — все-таки какое-то орудие в руке.

Он поставил лампу на плиту и, не ожидая приказа, полез в погреб. Когда сверху посветили фонариком, удивился простору в подземелье и количеству дубовых бочек — их стояло штук восемь, многоведерных. Вкусно пахло квашеной капустой, укропом, дубовым листом, но чувствовался и запах склепа, прелости и еще чего-то едкого, как аммиак, отчего слезились глаза.

Молчаливый гитлеровец, спустившийся следом,

приказал ему наклонить бочку. Но Олесь не смог даже сдвинуть ее. Немец пренебрежительно смотрел, как он напрягается, и так грубо отпихнул парня, что тот больно стукнулся головой о бетонную стену погреба. Легко, одной рукой, немец перевернул бочку с огурцами, рассол облил Олесю ноги, огурцы рассыпались по бетонному полу, захрустели под сапогами у фашиста, он давил их нарочно, с наслаждением.

Олесь стоял, прислонясь к стене, вспотев от боли и слабости, и в бессильном гневе сжимал кулаки.

Другую бочку немец наклонил, но не перевернул, потому ли, что его позвали из кухни, — возможно, поторапливали, — или потому, что фонарик его осветил в углу, за бочками, бутылки с «Московской» и консервы. Впервые за время обыска он довольно воскликнул: «О-о!» — и засунул бутылки в карманы брюк и пальто. Взял банок пять консервов, Олесю приказал взять остальное.

Кроме водки и консервов фашисты забрали вилки, ножи, подстаканники, вышитые рушники, столовое белье — скатерти и салфетки, — Ольгино приобретение первых дней войны, и все меха, даже старые: пальто из рыжей лисы старой Леновичихи, Ольгину чернобурку, детскую цигейку, выменянную недавно за продукты у какой-то голодной беженки.

Забрали все самое ценное. Ольга попыталась было выпросить детскую шубку, больше всего ее пожалела: до этого часто любовалась ею, примеряла па Свету; шубка была еще великовата, но Ольга представляла, как дочь будет выглядеть в ней — в черненькой, как уголь, отороченной снизу белым, по образцу северных нарядов, — такие шубки Ольга видела в книгах и в кино. Но в ответ на ее просьбу старший, который наконец то спрятал пистолет, убедившись, что опасности нет, произнес сердитую речь. Можно было понять, о чем гитлеровец говорил, потому что несколько раз он повторял «золёто», наверное, угрожал: за то, что не отдала золота, она и муж ее заслуживают кары

большей, чем конфискация вещей для великой армии фюрера.

Не будь на руках ребенка, Ольга просила бы более настойчиво, может, даже заголосила бы в отчаянии, во всяком случае, слезу пустила бы, со своими людьми это помогало. Но от ее слов проснулась Светка, чужие, немецкие слога, громкие, страшные, не будили малышку, а материнские разбудили, и Ольге пришлось бормотать необычную колыбельную:

— Спи, моя детка. Спи, мой котик. Все котики уснули. И мышки спят. И детки спят. Одни тигры гуляют... двуногие... Зер гут, господин начальник. Зер гут. Мне ничего не жаль. Чтоб вы подавились. Чтоб мое добро вам поперек горла стало. Зер гут.

— Зер гут! — вдруг похвалил старший и ткнул Олеся кулаком в живот, правда, слегка, показывая со смехом Ольге, чтобы она лучше кормила мужа: возможно, тот, что лазил в погреб, сказал, что русский не смог даже перевернуть бочку. А может, увидев, что в доме много капусты, немец советовал кормить его капустой. Им хотелось под конец пошутить, хотелось быть добрыми. Они верили, что они добрые. Самые добрые. И самые остроумные. Не то что эти полудикие славяне.

Старший и самый «добрый» даже погладил шелковистые беленькие Светины волосы. Жест его, когда он вдруг протянул руку, испугал и Ольгу и Олеся. Но он действительно погладил ласково и сказал что-то насчет немцев и белорусов, насчет арийцев. Уж не доказывал ли, что белорусы принадлежат к арийской расе? Набивался в свояки. Немец был политик. А политические, газетные слова Олесь понимал лучше, чем бытовые. На прощание этот «политик» снова сказал речь, много раз повторив уже знакомое «данке», — конечно, не их благодарил, не та интонация, скорее всего советовал, чтобы они поблагодарили за такое хорошее, мирное ограбление. И Ольга впрямь повторила:

— Данке, данке, пан начальник. Пусть пользуются твои

детки, чтобы на них короста напала,..

Когда немцы наконец вышли и машина отъехала с большей скоростью, чем подъезжала, сильно грохоча по мерзлой земле, Ольга и Олесь долго молчали. Стояли и не смотрели друг на друга, будто кто-то из них был виноват в случившемся. Но теперь, когда Олесь понял, что не из-за него нагрянули немцы, он успокоился: страшно было думать, что принес горе женщине, которая так много сделала для него.

А Ольга не молчала, очень тихо, с особенной нежностью, она укачивала ребенка. Колыбельная без слов — древний, знакомый всем матерям на свете мотив, музыка сердца.

Никто из них не пошел закрывать ворота, двери. Зачем? Другие грабители не придут.

Малышка уснула, и Ольга отнесла ее в спальню. Привычно заскрипела деревянная кроватка-качалка.

Выйдя из спальни, Ольга громко, не понижая голос, спросила, показывая глазами на разбросанные вещи:

— Что же это такое? Он ответил гневно:

— Фашизм! Фашизм это! А вы... вы хотели при нем жить... торговать! Теперь вы видите... видите? Но это что! Цветочки! Мелкий грабеж! Вы видели бы, что они делают там!.. Нет! Бить, бить их нужно! Чтоб земля под ними горела! Как Сталин говорил...

Последние слова он почти выкрикнул. И Ольга вдруг сорвалась с места, кинулась к нему, закрыла рот ладонью и зашептала со злостью:

— Замолчи! Замолчи немедленно! Зараза! Большевистский ублюдок! — и с силой оттолкнула его от себя.

Олесь онемел от неожиданности. Знал ее помыслы, знал, что она торговка, мещанка, — хотя в то же время оказалась и способной выкупить его, по-родственному

заботиться о больном, праздновать годовщину Октября. Но «большевистский ублюдок» — такого он не ожидал, не укладывалось это ни в какие противоречия характера, оскорбляло самое святое для него. Была б у него своя одежда и не будь на улице ночь, когда далеко не пройдешь без специального аусвайса, он тут же ушел бы отсюда.

Ольга тоже почувствовала, что ударила слишком больно, и тоже подумала, что, оскорбленный, он может уйти, а этого она боялась. Несмотря на то, что была босая, она выбежала и закрыла калитку, закрыла двери, одни, другие — из сеней на улицу и из кухни в сени.

Вернулась — начала собирать вещи, но делала это будто нехотя, точно не соображая, как навести порядок после такого разгрома. А может, наклонилась просто, чтобы не глядеть в глаза Олесю. Он тоже молчал, не зная, что можно сказать после ее оскорбительных слов. Но когда вдруг Ольга села на пол, на кучу одежды, и заплакала, закрыв лицо помятым платьем, ему стало жаль ее: в конце концов, он не может не считаться с тем, что она простая, малообразованная женщина, и было бы неразумно не попробовать развить лучшее в ее характере.

Олесь подошел к ней и миролюбиво сказал:

— Не надо плакать, Ольга Михайловна. О чем горюете? Что вы потеряли? Шубы? Ложки? Разве такую трагедию переживают миллионы людей? Они теряют сыновей, отцов...

Она открыла лицо, подняла глаза и сказала, теперь уже миролюбиво:

— Не топчись по одежде.

Не замечая этих разбросанных по полу тряпок, он нечаянно наступил на какую-то кофточку. Увидел свою промашку — растерялся.

— Извините.

Ольга вздохнула.

— Взяла я тебя на горе себе...

Новый удар, не менее болезненный, — и это на его попытку дать ей понять, что, несмотря на обидные слова, он по-прежнему считает ее человеком. Все остальное можно простить разгневанной и напуганной женщине. Но спокойное заявление, что на горе она взяла его, пленного, — это уже даже не оскорбление, а деликатная форма безжалостного: «Пошел вон из моего дома!»

Что ж, этого можно было ожидать. Пусть он будет благодарен за то, что она спасла его от мучительной смерти и дала месяц жизни и тепла. Дальше он должен сам позаботиться о себе. Собственно говоря, забота у него одна — быстрей вернуться в строй, найти свое место в войне с фашизмом. Теперь, когда он выздоровел и находится на воле, это, кажется, нетрудно будет сделать. Как говорят, свет не без добрых людей. И в Минске их немало. Помогут. Осторожно отойдя от разбросанных вещей, он сказал:

— Простите. Завтра утром я уйду. Спасибо вам.

Ольга не сразу отреагировала на его слова. Поднялась, сгребла с пола кучу одежды, кинула на стол. И вдруг повернулась к нему с сухими, горячими глазами, без тени растерянности, уверенная, властная, — такой Олесь привык ее видеть весь этот месяц, с тех пор как очнулся,

— Куда это ты пойдешь? Никуда ты не пойдешь! Никуда я тебя не пущу!

Не думала она, не представляла, что сильнее всего ранит парня этими добрыми словами, тяжелее всего оскорбляет. Ему хотелось крикнуть: «Думаешь, если ты заплатила за меня золотом, так я твой вечный раб?» Но она опередила, спросив почти с угрозой:

— К Лене Боровской собрался?

Олесь смутился, потому что и вправду в первую очередь вспомнил о Лене, думая о людях, которые могут помочь ему.

— Что вы!.. Почему к Лене? Зачем мне к Лене?..

Тогда случилось совсем невероятное, чего он, поэт, мечтатель, ни разу не представлял себе, хотя и давал волю своим мыслям в бессонные ночи. Ольга вдруг кинулась к нему, охватила его голову руками, стала целовать в лоб, в щеки, в губы и горячо зашептала:

— Никуда я тебя не пущу! Никому не отдал. Я люблю тебя! Люблю, глупенький ты мой... Мужа так не любила...

Такого он действительно не придумал бы, даже не для себя — для «героя будущей поэмы, которую мечтал написать после войны, если останется жив. О себе, правда, изредка думал с тревогой: не хочет ли практичная торговка присвоить его как собственность? Это немного волновало — все-таки женщина она привлекательная, и ребенка он полюбил. Но над перспективой такой он смеялся, твердо уверенный, что перед подобным искушением выстоит, хватит у него и силы, и характера, и вообще не об этом сейчас думать надо. Неожиданные Ольгины поцелуи и признание в любви после всего, что случилось, после жестоких слов ее смутили Олеся, как семиклассника, он не мог вымолвить слова, не знал, что сказать, как поступить в такой ситуации. Как тут проявить силу и характер, не обидев, не оскорбив женщину? Сказать, что не любит ее и никогда не полюбит? Но честно ли это? Не обманет ли он и ее, и самого себя? Что теперь не до любви? Не поймет. Да и сам уверен, что даже война не может убить лучшие человеческие чувства, самые высокие и прекрасные. Однако же и распускаться он не может — не имеет права! — от женских поцелуев. Нужно оставаться мужчиной!

— Ольга Михайловна! Пожалуйста, не нужно. Прошу вас... Неуместно это все. Нет, я благодарю, конечно, вас. Но лучше займемся делом — наведем порядок в

доме...

Должно быть, ей тоже сделалось стыдно за свой неожиданный порыв. Отошла от него. Не смотрела в глаза. Тяжело вздохнула. Села на вспоротый диван, кутаясь в пальто, будто ей сделалось холодно. А он стоял напротив и впервые рассматривал ее очень внимательно, раньше так не отваживался — боялся, чтобы она не подумала ничего предосудительного. Хотелось наконец понять эту женщину, загадочную для него с того момента, как взгляды их встретились через колючую лагерную проволоку, на удивление противоречивую, такой противоречивости в человеческом характере он не встречал за свои двадцать лет, а это возраст, когда человеку кажется, что он познал все тайны мироздания. Что же она такое? Кто она? Торговка? Мещанка? Или Человек и Мать? Ему, возвышенному романтику, два слова эти всегда хотелось писать с большой буквы. И произносить их торжественно.

Конечно, на лице ее Олесь ничего не прочел, только с новым незнакомым волнением заключил, что Ольга действительно красива (это он отмечал и раньше, но не так определенно и не в таком смятенном состоянии) и что в такую женщину не грешно влюбиться. Но тут же напомнил себе, что эта роскошь и легкомыслие ему не позволены, ведь так можно и погрязнуть в обывательском болоте, а ему нужно воевать, мстить врагу, у него одна цель — бороться, другой быть не может.

Понуро сидевшая Ольга вдруг подняла голову, глянула и засмеялась — увидела себя в зеркале.

— Посмотри, какая я! Как огородное пугало! Не помню, как надела это пальто. И воротник подняла... И в таком виде...

Вдруг она вскочила, сбросила пальто и, стоя к нему спиной, натянула красивое зеленое платье, из тех, что подняла раньше и положила на стол.

Когда Олесь посмотрел на нее, Ольга стояла уже в платье, в туфлях на высоких каблуках и, подняв руки, закручивала в узел волосы. Будто до этого ничего не случилось и они собрались в гости. Это ее неожиданное преображение еще больше испугало беднягу.

— Думаешь, я плакала потому, что мне жаль добра? Не такая я дура, как думали они и думаешь ты. Все лучшее я закопала так, что найду ли сама потом... И серебро. И золото. И лучшие шубы. Вот им, гадам! — Она показала кукиш в окно. — Все не стала прятать, иначе не поверили бы. Соседи, как собаки, всю жизнь вынюхивали, что Леновичи покупают. И есть такие, что полный список немцам, наверное, передали. Потому всего и не спрятала. Нужно же чем-то откупиться. Пусть они подавятся старыми шубами, злодеи! А еще кричат — культурная нация! Бандиты! Грабители!

Но говорила это без той злости, которую хотелось бы услышать Олесю; так, многословно, по-базарному, без ненависти, которая кипела в нем, она ругала фашистов и раньше. Полицаев почти так же ругала прямо при них — пьянчугами, живодерами, бабниками, — а те только смеялись, беззлобно угрожали посадить ее в тюрьму за оскорбление власти и, мол, не сделали это до сих пор только из жалости к ребенку. Олесь промолчал.

Молчание его задело Ольгу.

— Что ты стоишь, как святой Макар? Иди сюда, посидим рядом, поплачем или посмеемся — как нам захочется. — Она снова села на диван и, увидев его нерешительность, засмеялась. — Иди сюда. Садись. Не бойся. Не укушу.

Не принять такое ее приглашение было бы нелепо. Олесь решительно сел рядом.

Тогда она заговорила совсем иначе — без игривости, серьезно, доверительно, понизив голос до шепота:

— Я от страха плакала. Если бы ты знал, как я передрожала! Душа все время, пока они шарили, вот

тут была. — Она дотронулась до каблука туфли. — Пока я не поняла, что это не те, не из гестапо. Эти из лагеря, от того толстого хмыря, что взял золото за тебя, он адрес мой записал... Ишь на водку как накинулись, обормоты. Если бы они были натренированы на обысках, то знаешь, что могли бы найти? Всем бы нам труба! — Ольга наклонилась и выдохнула Олесю в ухо: — Радиоприемник... И пистолет...

— У тебя есть пистолет? Где ты взяла?

— Тише ты! Сняла с убитого в начале войны.

Ни когда Ольга выкупила его из лагеря и они бежали по полю, чтобы быстрее покинуть жуткое место, ни на Октябрьский праздник, когда она предложила торжественный обед, ни когда Лена Боровская тайком сообщила, что в городе есть коммунисты и комсомольцы, организованные для борьбы, ни несколько минут назад, когда Ольга так неожиданно призналась, что любит его и никому не отдаст, — сердце его не билось так сильно, так взволнованно, тревожно и радостно, как в эту минуту...

## V

После обыска Ольга оживилась, осмелела, избавилась от ночного страха и торговать стала с еще большей активностью. Только изменила характер торговли. Наблюдая жизнь и рынок, она уже давно начала задумываться, как все повернется, и поняла, что в будущем, зимой и весной, приобретут особенную ценность хлеб, картошка, свекла, не говоря уже о сале. Ум у нее был коммерческий, конъюнктуру рынка, как говорят экономисты, она не только хорошо знала, но и умела прогнозировать. Возможно, что ночной налет фашистов, поиски золота, радость от найденной водки и консервов явились толчком для пересмотра ею собственной торговой политики. Определенное значение имел и разговор с Олесем, ее признание, оно укрепило надежду на женское счастье. Одним словом, выносить продукты на рынок она стала редко — лишь

бы напомнить о себе, «отвести душу» с прежними подругами, позубоскалить с полицаями. Теперь она чаще заглядывала на барахолку. Продавала и покупала сама. Покупала вещи небольшие, ценные — серебряные, золотые, которые легко можно было бы спрятать.

И продукты она теперь чаще покупала, чем продавала. Но не на рынке. За продуктами ходила в пригородные деревни, там у крестьян на кофточки, сорочки, юбки и соль выменивала ветчину, сыр, сало, крупу домашнего изготовления, обрушенную в ступах.

Такая торговая деятельность Ольге нравилась. Было в ней больше разнообразия, азарта, выдумки, хорошо нужно было шевелить мозгами — как, где, что наиболее выгодно купить, продать, перепродать, спрятать. Нравилась барахолка, которой мать ее когда-то пренебрегала, считала, что там толкутся только две человеческие породы — мошенники и дураки. Теперь, при немцах, нужда, голод вынуждали появляться том всех, даже тех, кто раньше не знал, где находится эта «обдираловка». На таком рынке как-то теряешься среди людей. Даже с полицаями реже встречаешься и реже платишь «калым». Стоило ей исчезнуть со своего привычного места в продовольственном ряду на Комаровке, и «бобики» не так часто стали заглядывать в дом. На толкучке люди смелей высказываются, там больше можно услышать о городских новостях, о немецких приказах и даже о своих — как они там воюют, где.

И в деревни интересно ходить, поговорить с крестьянами, хотя тут опасность большая и поборы большие — на контрольных постах немецкие солдаты, с ними бывает нелегко договориться. Однажды Ольга предложила им кусок сала, а они отобрали всю котомку, а ее грубо толкнули, паразиты. Но в этой опасности было что-то новое, притягательное, она будто участвовала в чем-то более значительном, чем обычная торговля, будто совершала какой-то маленький подвиг. Во всяком случае, если о своих «успехах» на барахолке

рассказывала очень скупо — знала, что Олесю не нравится ее занятие — то про походы в деревни рассказывала охотно, подробно.

О ее неожиданном признании после обыска они не напоминали друг другу. Она, Ольга, больше проявляла женской стыдливости, чем раньше. Но еще более внимательна стала к его желаниям. Приносила книги. Покупала их, не жалея денег. Однажды принесла «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Олесь удивился и испугался, когда она сказала, что купила книгу на барахолке. Кто ее мог продавать? Человек, который не понимал, что это за книга? Или патриот, бросающий вызов врагу? А вдруг провокатор, чтобы засечь того, кто купил книгу?

Чаще приносила поэзию, зная, как он любит стихи. И, кажется, сама полюбила их. Нередко по вечерам просила, чтобы он почитал ей Блока, Лермонтова, Купалу, Богдановича. Даже керосин теперь не жалела. Кстати, Богдановича принесла Лена, и Ольгу снова ревниво задело, даже разозлило, что небольшая книжечка обрадовала Олеся больше, чем некоторые толстые, в красивых обложках, которые приносила она, обрадовала так же, как когда-то Блок. Из книжек, купленных ею, Ольгой, он так радовался разве что Лермонтову. Ольга помнила со школьных лет «Смерть поэта», отдельные строки. Прочитала наизусть:

*Погиб поэт! — невольник чести —*
*Пал, оклеветанный молвой,*
*С свинцом в груди и жаждой мести,*
*Поникнув гордой головой!..*

Олесь даже прослезился. И ей было радостно от его слез. Потом Олесь несколько раз тайком наблюдал по утрам, как Ольга брала книжки и, непричесанная еще, босая, без кофточки, читала стихи, как молитву, — шевелила губами, потом закрывала книгу и, подняв голову, шептала строки, если не помнила, заглядывала в книгу. А потом днем или вечером, хлопоча на кухне, тихо, на свой мотив, пела:

*Ў родным краю ёсць крыніца*
*Жывой вады,*
*Там толькі я магу пазбыцца*
*Сваёй нуды*[1].

Или, укладывая Светку, пела на мотив колыбельной, но, безусловно, не для дочери — для него, чтобы сделать ему приятное, помнила, какие стихи он читал на память:

*В небесах торжественно и чудно!*
*Спит земля в сиянье голубом...*
*Что же мне так больно и так трудно?*
*Жду ль чего? жалею ли о чем?*

«Зорку Венеру» Ольга пела в школьном хоре. Не знала, однако, не помнила, что слова написал Богданович, о несчастной судьбе которого Олесь долго и интересно рассказывал. Между прочим, только такое вступление заставило ее слушать стихи из книги, которую принесла Лена и которой Олесь обрадовался больше, чем ее книгам. Когда он дочитал до «Зорки...», Ольга тут же пропела эту песню. Растрогала парня. Кажется, именно тогда он сказал:

— Учиться тебе нужно, Ольга.

После этого он всегда говорил ей «ты», и это определенным образом сближало их при всей сдержанности и взаимной осторожности.

— Когда учиться? Сейчас?

— Не сейчас, конечно. После войны. Почему ты не училась до войны?

Ольга посуровела, даже обозлилась.

— Легко тебе говорить — у тебя мать учительница. А у меня — торговка комаровская. А после войны... Боже мой, ты, правда, не от мира сего. Как ангел. Неужели не знаешь, что будет после войны?

— А что будет?

— Голод будет. Нужда. Не до учебы тогда будет.

— Мы победим — не будет голода, не будет нужды.

— Победим... Когда это будет? Немцы под Москвой. Вон кричат из репродукторов на всех рынках, что завтра Москву возьмут...

— Все равно мы победим! — Щеки у парня зарделись, глаза заблестели, голос задрожал. — Ты не веришь в победу?

Ольга знала, как мучительно он переживал такие разговоры. Полицаи как-то были, пили в «зале», кричали, что скоро Гитлер сделает Сталину капут, так его, беднягу, потом всю ночь лихорадило, он даже бредил; Ольга испугалась, что он опять тяжело заболел.

— Верю, верю...

Вообще она стала удерживаться от слов, которые могли бы его обидеть, оскорбить, и все еще чувствовала свою вину за «большевистского ублюдка».

Ее словам, что она верит в победу, Олесь не очень поверил и начал горячо доказывать, что без такой веры нельзя жить, что если бы он утратил веру в победу, то не жил бы ни одного дня, не цеплялся бы за жизнь, — какой смысл в ней, когда грязный солдатский сапог фашиста растопчет, испоганит все дорогое, ради чего стоит жить.

Ольгу все еще пугали эти его слова. Нет, пожалуй, не столько сами слова, сколько то, как он их говорит, с какой горячностью. Но теперь она не возразила. Даже не отважилась попросить, чтобы никому другому он об этом не говорил. Сила его духа покоряла. Ольга чувствовала, что власть, которую она имела над ним, больным, кончается; все идет к тому, что властелином — не имущества, нет, этого она не боялась, — мыслей, чувств ее становится он. Вот этого боялась, но странно — сопротивлялась все слабее.

Случалось, она прибегала с рынка, довольная удачной

куплей-продажей, полная молодой энергии, здоровья, видела порядок в доме, — став на ноги, Олесь стал неплохим помощником ей, во всяком случае за малышкой смотрел лучше, чем тетка Мариля, — и у нее появлялось желание сделать ему приятное. Хватала Светку, кружилась с ней, пританцовывала, пела:

*Я калгасніца маладая…*[2]

Сначала Олесь насторожился: уж не издевается ли она над радостью той жизни, которая дала вдохновение великому песняру, а ему, молодому поэту и воину, дала силы не согнуться под грозовым ветром военных горестей? Но Ольга повторила песню раз, другой… без иронии, искренне, с явным намерением порадовать его. И он действительно порадовался тому, что у нее появились желание и смелость петь эту песню. Ведь убедить, переломить самое себя — это тоже немало, боец начинается с песни, от того,.что он поет, зависит его боевой дух. Так говорил редактор их армейской газеты, старший батальонный комиссар Гаврон. Он застрелился, чтобы не попасть в плен, когда немцы окружили редакцию. Олесь видел его смерть и считал ее проявлением высокого мужества, которого не хватило ему, и это так мучило его и в лагерях и тут, у Ольги, во время болезни. Теперь он стал думать иначе. Кому была бы польза, если бы он уже гнил в земле? Немцам. А так он может еще повоевать. Даже если убьет только одного фашиста, то и ради этого стоило перенести все муки, бороться до последнего вздоха.

Да, он жил совсем иной жизнью, чем Ольга. Превращенный в няньку, он готовил себя к главному — к выполнению присяги, которую принял год назад. Закалял свои убеждения во имя высокого идеала, чтобы ничто уже не могло поколебать их, и свою волю, чтобы не отступить перед любой опасностью, не дрогнуть перед смертью, под дулами вражеских автоматов, перед виселицей. Этой цели служило все: поэзия, воспоминания, мечты, мысли о матери и даже заботы о ребенке, отец которого в армии, привязанность к Светке. Любовь к ребенку как-то материализовала его

любовь к жизни вообще, к людям и напоминала о смысле борьбы и о смысле жертв в этой борьбе. Одно только не помогало в этой душевной подготовке — противоречивость отношения и чувств к Ольге. Понимал, что у него не хватит ни времени, ни умения перевоспитать ее, сделать иной, отвадить от торговли, избавить от жажды накопительства. Чувство собственности, жадность — самые прочные пережитки. Как-то Ольга в порыве искренности проговорилась, что мечтает открыть свою лавочку, немцы охотно дают разрешение. Как объяснить, что за такое ей придется отвечать перед советским законом? У каждого спросят: «Что ты делал во время войны? Кому помогал? Кого кормил или одевал — своих или врагов?»

В бессонные ночи он обдумывал разные варианты своего вступления в строй активно действующих борцов. Сначала мысленно переходил линию фронта, потом, после разговора с Леной, шел в партизаны, действовал тут, в Минске. Случалось, слишком возносился, давая волю фантазии, представлял себя великим, неуловимым героем, но тут же спускался на землю, безжалостно высмеивал бесплодные мечтания. Разве фронтовая жизнь не доказала ему, что сделаться героем в такой войне очень не просто? Да и вообще не о героизме и славе — надо думать об исполнении своего воинского долга.

Хотя ничего определенного Лена Боровская еще не сказала, но самые реальные мысли о вступлении в борьбу связывались с ней, она рассказала о партизанах в окрестных лесах и о людях, что организуются в Минске.

Ольгино признание в любви и сообщение, что у нее есть радиоприемник и пистолет, начали снова настраивать его разгоряченную, нетерпеливую фантазию на высокие волны. Временами Ольга превращалась в таинственную личность, — например, в оставленную нашими разведчицу высокого класса. Но, рассудив, приходил к выводу, что думает ерунду: не той жизнью жили Леновичи до войны, чтобы молодая женщина с

ребенком, которую все тут знают, могла выполнять такое задание. И не такие взгляды надо иметь. И не такой трусихой быть,

Как-то вечером уложили вместе Светку, которая разгулялась и долго капризничала, и остались вдвоем, чувствуя некоторую неловкость, Олесь спросил шепотом:

— Он исправен?

— Кто?

— Приемник.

— Наверное, исправен.

— Давай послушаем Москву.

У нее сделались круглые, как яблоки, глаза.

— Ты что, дурак, на виселицу захотел?

Вот тебе и «разведчица»...

О пистолете не отважился спросить, где спрятан, хотя пистолет, как ничто другое, лишил покоя. Думал о нем дань и ночь. Видел его, чувствовал холодок рукоятки, ласково гладил вороненое дуло. Когда оставался днем с ребенком, искать не отваживался, считал позорным воровски обыскивать чужой дом, самое большее — мог заглянуть в шкаф или открыть ящики комодов и столов. Даже в погреб в отсутствие Ольги ни разу не спустился. Но ходил по дому, останавливался в углах, прикидывал, где можно хитро спрятать небольшую вещь, чаще, чем нужно, наступал на скрипучую половицу, которая, наверное, поднималась. Каким-то таинственным чувством ощущал близость оружия, и это волновало. Знал, как неожиданно просто, недалеко, но хитро, умеют прятать вещи женщины, мужчины обычно прячут дальше, но тайники их находят легче. Ольга спрятала недалеко, он понял это из ее признания, как она передрожала, пока гитлеровцы искали золото. Значит, пистолет где-то тут, в доме, иначе не боялась

бы, будь он закопан в саду или в хлеву.

Почему-то был уверен, что в какой-то момент неожиданно, так лее, как неожиданно возникают поэтические образы, придет озарение и он догадается, где спрятан пистолет. И убьет первого гитлеровца. Кончатся муки от того, что за три месяца пребывания на фронте, тяжелого отступления с армией он лично не убил ни одного фашиста; трижды попадая в окружение, он ни разу не стрелял в упор, так, чтобы видеть, что именно твоя пуля скосила хотя бы одного врага.

Оставаясь один, Олесь писал стихи, писать начал, едва оправившись от болезни, когда еще не очень верил, что выживет. Хотелось что-то оставить после себя. В плену он лишился всего написанного раньше. Захваченное немцами исчезнет, конечно, бесследно. Писал не для литературы, чтобы осталось, — об этом он не думал. Для матери. Чтобы она знала, чем он жил в эти дни.

Записывал стихи в ученическую тетрадь и прятал ее под матрац. Гитлеровцы перевернули его постель, хорошо, что тетрадь не заинтересовала их. После обыска, заучив стихи на память, он сжег тетрадь в печке, чтобы не подвести Ольгу. Желание оставить после себя пусть хотя бы слабые стихи (насчет их достоинств иллюзий не было) теперь казалось наивным. За время болезни он возмужал и посуровел больше, чем в плену. Другими стали мысли, стремления. Но не писать не мог — душа горела.

Единственное, что он брал без Ольгиного разрешения, — это клочья какой-нибудь бумаги: листки порванного учебника, старой тетради, куски обоев. На них записывал стихи, пока сочинял их. Потом выучивал и бумажки сжигал. Не оставляя никаких следов. Только Светка иногда рассказывала матери, показывая пальчиком на печку:

— Жи-жа...

Да Ольга не понимала, считала, что дочь просит разжечь огонь.

Хотелось на улицу, погулять, походить, чтобы окрепли ослабевшие ноги. Ольга долго не разрешала выходить, будто боялась, что, вырвавшись из дома, он не вернется. Конечно, он мог бы выйти сам, если бы не нужно было просить у нее пальто. Наконец наступил день, когда Ольга дала ему кожух, отцовский. Разрешила выйти, только попросила дальше своей улицы не ходить.

Вышел под вечер. Город окутался морозной мглой. На деревьях вырос иней, и в таком уборе деревья были сказочно красивы. Олесь всегда любовался инеем и много писал о зимнем очаровании. Над трубами деревянных комаровских домов совсем по-деревенски поднимался дым, который почему-то особенно растрогал. Вспомнилась грибоедовская строка: «И дым отечества нам сладок и приятен». И вправду он был сладкий, этот дым, он очень вкусно пахнул, даже там, где топили торфом.

А вообще такая мирная идиллия и тишина испугали. Не сама тишина, а то, что он залюбовался ею, поверил в нее. Жадно, будто вышел из подземелья, вдыхал морозный воздух так глубоко, что кружилась голова. Преодолел слабость, пошел по улице. И вдруг красота померкла. Подумал о другом: «Где дом Лены Боровской?» Лена давно не появлялась. А именно теперь хотелось поговорить. Хотя точно не знал, что конкретно мог бы сказать ей, но верил, что от разговора их могло проясниться его нынешнее положение.

Когда вернулся домой, подмывало спросить у Ольги, где живут Боровские, но просто так спросить не отважился, подступил издалека:

— Почему-то Лена не заходит...

— Заскучал? — спросила Ольга иронически и настороженно, потом сурово разъяснила: — Не до гулянок ей, на хлеб нужно зарабатывать, семья голодает.

Но ему повезло. В третий свой выход он встретил Лену на улице. Мороз в тот день крепчал, небо очистилось и

горело на западе зловещей краснотой, под ногами звонко скрипел снег. Лена искренне обрадовалась, что он гуляет:

— Уже выходишь? Ой, как хорошо!

Раньше они разговаривали как давние друзья, у которых было что сказать друг другу, теперь же от неожиданности встречи растерялись, не знали, с чего начать. Разговор пошел нормально, когда Лена спросила, что он думает теперь делать, где работать, какая у него специальность. Погрустнела, услышав, что специальности у него никакой нет, не успел приобрести, с третьего курса пединститута забрали в армию. Но, узнав, что в армии он работал в редакции, повеселела. Предложила:

— Приходи к нам в типографию. Я поговорю с начальником. Он добрый, наш Ганс.

-— Ваш Ганс? Добрый? — насторожился и усомнился Олесь.

Лена поняла его, усмехнулась.

— Мы зовем его Иваном Ивановичем. Ему нравится. Правда, он добрый и... доверчивый. Хорошо, что доверчивый.

Зная, что такое типография, Олесь мог представить, как можно использовать доверчивость немца-начальника.

Наверное, он вообразил себе даже больше, чем могли сделать Лена и ее друзья в то время.

— Как там наши? — спросил шепотом, оглянувшись.

Лена вздохнула.

— Целую неделю не имеем сводок.

Олесь понял, — что-то случилось с приемником, — и неожиданно для самого себя сказал:

— У одного человека есть приемник.

— У Ольги? — сразу догадалась Лена, ибо о ком еще мог знать этот паренек, возможно впервые вышедший на улицу после болезни. В глазах у Лены появилось не просто любопытство. — Вы слушаете?

— Чтобы Ольга отважилась слушать...

— О, от Ольги можно ожидать чего хочешь!

— Но не героизма.

Олесь рассказал, после чего Ольга призналась, что у нее есть приемник. О пистолете смолчал.

Руководитель группы предупреждал, что далее с таким пленным нужно быть крайне осторожной — слишком легко его отдали из лагеря. Но согласиться с этим Лена не могла, ведь знала, как парень болел, слышала, что, едва очнувшись, он слабым голосом вот так же спросил: «Как там наши?» А как обрадовался октябрьскому поздравлению и Ольгиному предложению отметить праздник! Потому без всякой конспиративной хитрости сказала:

— Нужно забрать у нее приемник.

— Как?

— Подумай. Это твое первое боевое задание.

Трудно представить, как взволновали Олеся слова «боевое задание». От своего имени Лена так бы не говорила. Когда-то она сказала ему, больному, что в городе есть люди, коммунисты, готовые подняться на борьбу. Значит, теперь она говорит от имени тех людей, они и дают ему боевое задание! И он обязательно должен выполнить это задание! Сначала оно не казалось сложным. Если хорошо попросить Ольгу... Но Лена предупредила, что Ольге не следует говорить, от кого просьба, да и про их встречу лучше промолчать; за приемником, когда они договорятся, придет кто-то другой. Теперь он понял, как все это не просто.

С Леной ему было хорошо, просто, по-свойски как-то, как с сестрой. Но они быстро распрощались.

— Не надо, чтобы обратили на нас внимание. Комаровские сплетницы тут же разнесут, как сороки. А Ольга ревнивая. Никому не позволит зариться на то, что она считает своим. — Лена улыбнулась не очень весело, давая понять, что говорит серьезно.

Олесь смутился, как девушка; ему показалось, что Лена знает о разговоре между ним и Ольгой после обыска.

Он намеревался поговорить с Ольгой в тот же вечер. Но она вернулась из какого-то своего торгового похода не в настроении, злая. Раньше он попробовал бы отвлечь ее стихами, возней со Светкой. Но теперь отношения их еще более усложнились. После ее признания появилась какая-то особая настороженность и боязнь. Да, он боялся ее силы и своей слабости, а потому волновался и конфузился больше, чем тогда, когда лежал больной. Как же сказать о приемнике? Для такого разговора необходим какой-то иной, душевный, контакт. Но как его наладить?

Вечером следующего дня Ольга казалась погрустневшей, но более доброй и мягкой. Да и он сам убедил себя за день, что откладывать нельзя, не для забавы необходимо это — для борьбы, в таком деле не только день, каждый час дорог.

За столом, когда ужинали, Ольга всмотрелась в его лицо, спросила:

— Почему ты слабо поправляешься? Одни глаза блестят. Плохо я тебя кормлю, что ли? Ешь больше.

— Спасибо. Ем. Больше некуда.

— Сушат тебя мысли.

— Сушат, — согласился он, сразу сообразив, что от такого разговора можно перекинуть мосток к другому.

Ольга вздохнула, догадалась, наверное, какие у него

мысли. Это уже что-то...

— Мыслей много... Но теперь я все думаю о твоих вещах...

— О каких?

Он оглянулся на темное окно, без слов давая понять, о каких вещах пойдет разговор.

— Зачем ты их прячешь? Налетят опять фашисты, перевернут все и найдут. Знаешь же немецкие постановления на этот счет. Пощады не жди. А у тебя ребенок... Загубить себя из жадности...

О жадности не стоило говорить. Ольга откинулась на спинку стула, глубоко вздохнула, и ноздри у нее хищно раздулись. Но спросила пока что спокойно:

— Куда же мне их деть?

Олесь предвидел этот вопрос и готовил на него ответ. Был вариант предложить ей продать приемник. Лена прислала бы покупателя. Но вдруг понял, что любая хитрость тут не к месту. Только искренность, только полное доверие могут подействовать на эту женщину, покорить ее. Так ему показалось.

— Есть люди, которым очень нужен приемник.

Ольгино лицо сделалось некрасивым, в странном оскале — хотела улыбнуться и... не смогла, не получилась улыбка, застыла, омертвела. Поднялась со стула осторожно, будто у нее что-то заболело, и спросила сначала тихо:

— Кому... кому нужен? Лене?

— Не одной ей. Не музыку слушать.

Улыбка наконец пробилась через тяжелую маску, но недобрая, злая. Ольга зашипела:

— Быстро же вы снюхались! Два раза вышел погулять —

и уже встретились, договорились... Или она бегает к тебе, когда меня нет? Застану — ноги поломаю! — Это уже был крик, она сорвалась, закричала во весь голос, показала фигу в темное окно с большей злостью, чем показывала ее немцам. — Вот ей, а не приемник! Сломаю! Сожгу! Закопаю! А ей не дам! Скрутит она голову и без моего приемника! Ишь ты, борец! Теперь я знаю, за кого она борется!

Олесь подскочил к ней, схватил за плечи, потряс, гневно зашептал:

— Замолчи! Сейчас же замолчи! На кого ты кричишь? Почему ты кричишь? Люди жизни не жалеют... Люди хотят знать правду, чтобы народу рассказать. Хотят помочь Красной Армии. У тебя там муж, брат. А ты... ты о чем думаешь? О богатстве? Об утробе своей? Мещанка!

Сказал это и... оторопел, понял, что перебрал, умолк, ожидая, что в ответ Ольга сейчас такое понесет... Но она молчала. Смотрела на него широко раскрытыми глазами, и светилась в них не злость, не возмущение, а скорей удивление. Ему стало тяжело дышать. Вспышка отняла те немногие силы, которые он накопил. Понурясь, Олесь тихо сказал:

— Не нужен нам твой приемник. Без него обойдемся.

И пошел из кухни в свою темную комнату. Сел на кровать. Кружилась голова. Снова, как после обыска, когда она оглушила «большевистским ублюдком», подумал, что если у него есть хотя бы капля гордости, он должен тут же оставить этот дом. Но опять был вечер, хотя и не такой поздний, как тогда, как раз в такое время патрули проявляют свою бдительность. Без пропуска не пройдешь. Да и одежда... Он вынужден будет просить у нее... Чтобы перебежать к Боровским, пожалуй, не нужно ни пропуска, ни теплой одежды. Но где их дом? Где-то в соседнем переулке, однако ни названия переулка, ни номера дома он не знает, у Лены не успел спросить, у Ольги — не отважился. Безусловно, не все люди ходят с пропусками. Но нужно

знать город и иметь определенную цель, определенный адрес, куда идти. Он же города не знает, и, кроме Лены Боровской, у него нет ни одного знакомого, который мог бы приютить в зимнюю ночь.

Мучился не только от безысходности своего положения, от унизительной зависимости, но и оттого, что сказал Ольге обидное слово. Несмотря ни на что он не может не быть благодарен ей. Мечтал совсем не так проститься. Мечтал низко поклониться ей, поцеловать руки и слова сказать особенные. А сказал вон как! О том, что жестокие и гневные слова его не обидели Ольгу, не мог даже подумать.

А между тем это было так. Привыкнув в своем базарном окружении и не к таким словам, Ольга совсем не обиделась за «мещанку» и за все упреки, брошенные им. Об утробе думает? А кто не думает? Сколько их таких, как он, святых? Короткая у них жизнь в такое суровое время. Как у мотыльков. Только под крылом ее мещанским он может прожить дольше, Вот о чем она думала все время. А вспышка его даже обрадовала. Как он схватил ее за плечо, как встряхнул! Может, впервые она почувствовала в нем мужчину.

Но, вспомнив обыск и его намерение уйти, испугалась. Поняла: не он оскорбил, а она оскорбила чувства его высокие, его стремления. И он может уйти. Этого она боялась. От мысли такой не раз холодела по ночам. Страшно остаться одной. Чтобы снова нахально приставали полицаи... Но даже и не поэтому. Может, главное в том, что с ним она почувствовала себя как бы богаче и... чище. Душевно чище. Раньше никогда не думала, что кроме богатства, которое можно купить и продать, есть еще и душевное, не покупаемое ни за какие деньги, но когда есть оно, с ним легче жить. Теперь даже к торговле своей, к приобретению продуктов, дорогих вещей она относилась иначе, начала сознавать, что все это может понадобиться не ей одной. Кому и зачем это может понадобиться, пока что ясно не представляла, но мысли такие как бы очищали. И все это от него, от этого больного парня. От стихов его. От

высоких слов про Родину. От порывов, над которыми сначала хотелось посмеяться: мол, хотя и двадцать лет тебе, а мысли детские, начитался книжек, а жизни не знаешь, а она, жизнь, совсем иная, чем в книжках. Но теперь выходит, что и ее чем-то захватила эта книжная, выдуманная, как она считала, жизнь. А может, не такая она выдуманная? Может, правда, нужно жить иначе? Нет, о том, чтобы изменить свою жизнь теперь, во время войны, Ольга, безусловно, не думала. Не будет она голодать, как Боровские, и ребенка голодом морить не собирается. Но ведь можно совмещать одно с другим, рыночные дела с необычностью, красотой вечернего отдыха. Чтобы он тихим, но дрожащим от волнения голосом читал вот такое:

*Таварышы-брацця! Калі наша родзіна-маць*
*Ў змаганні з нядоляй патраціць апошнія сілы, —*
*Ці хваце нам духу ў час гэты жыццё ёй аддаць,*
*Без скаргі палеч у магілы?!*[3] —

а она сидела бы, подперев рукой щеку, смотрела на его бледное лицо, на его и впрямь ангельский вид, и ей хотелось бы плакать от этих жалостных слов, от своего умиления им, от страха за него... от всего сразу. Нет, нужно быть искренней перед собой: думала она не только о духовной близости... Не постеснялась признаться, что любит его и никому не отдаст. И любовь ее теперешняя совсем не похожа на ту, что была к Адасю и до замужества, и после, во время их совместной жизни. Она, эта новая любовь, — как у того Блока, которого они читали вместе, а потом она по утрам читала одна, почему-то не желая, чтобы Олесь видел это, стеснялась. Только ревность была прежняя, такая же, как и ко всем тем женщинам, которые иногда заглядывались на ее Адася. Когда-то она избила кондукторшу трамвая, когда сама увидела, что та билеты продавать забывает, а стоит около вагоновожатого и балаболит ему на ухо. Да еще и у начальства трамвайного парка потребовала не направлять такую на линию с ее Авсюком: она не хочет, чтобы муж ее попал в тюрьму, чтобы на его совести была человеческая жизнь, хватит того, что отец ее под

трамваем смерть нашел.

Никаких других отношений между молодым мужчиной и молодой женщиной Ольга не признавала. Потому и поверить не могла, что у Лены иной интерес во встречах с Олесем. Считала, что у любой бабы, какую бы должность она ни занимала, что бы ни делала, в голове одно — мужчина.

Была уверена, что Лена связана с теми, кто взорвал офицерское кафе на Комсомольской улице, подпалил склад на товарной станции, о ком немцы вывешивают приказы — пойман, расстрелян, но ревность от этой уверенности не уменьшалась. Пожалуй, наоборот: думала, что поскольку и он рвется туда же, то такая общность взглядов и целей обязательно сблизит их.

Ольга долго сидела на кухне, опечаленная, кляла свой дурной характер и свою сиротскую долю.

В «зале» постояла перед зеленой плюшевой занавеской — дверьми в его комнату. Хотела, чтобы Олесь отозвался. Но он молчал, его не было слышно — притаился. Тяжело вздохнула, пошла к себе. Заснуть, конечно, не могла. Ворочалась, вздыхала: пусть слышит, может, поймет, что и она переживает. Он ведь добрый, смягчится, пожалеет.

После своего признания, смутившего парня, сколько раз Ольга порывалась пойти к нему ночью. Но каждый раз сдерживала себя. Не из стыдливости. Нет. Никогда не стыдилась взять то, что считала принадлежащим ей. Сдерживало иное. Дала зарок не делать первого шага, не ронять женского достоинства. Добиться, чтобы первым пришел он. Только в таком случае счастье ее будет полным.

Но теперь, когда возникла угроза, что он может уйти навсегда — к Лене уйти! — стало не до тонкостей, нужно отважиться на такое, что привязало бы его навсегда. Это будет очень нелегко. Раньше самоуверенно полагала, что ни один мужчина не в силах устоять перед ее чарами. Но в отношении Олеся

такой уверенности не было. Необычный он, одержимый какой-то. Да и слабый еще, выздороветь выздоровел, а сил не набрался.

В полночь уже, услышав в тишине ночи, как он повернулся и вздохнул — не спит, мучается, бедняга! — Ольга наконец решилась.

Пошла в одной сорочке, босая. А он лежал на незастланной постели, поверх одеяла, одетый. Ольга на мгновение растерялась. Но по ногам тянуло от холодного пола. Да и не отступала никогда от того, что задумывала. И она забралась под край ватного одеяла, на котором он лежал.

Олесь отодвинулся, но не поднялся и ничего не сказал. Это ее подбодрило. Однако Ольга ждала, чтобы первым заговорил он, пусть скажет хотя бы одно слово — и все станет ясным. Но он молчал, даже дыханье затаил. «Испугался», — подумала Ольга, и ей стало весело, захотелось смеяться.

— Ты обиделся?

— Не-ет. За что?

Хорошо, что он отвечает, но плохо, если считает, что на нее не стоит даже обижаться.

— Я тебя люблю.

Он не ответил. Это задело ее женское самолюбие, она спросила с иронией:

— Скажи мне — ты мужчина или не мужчина?

— Я никогда не крал чужое.

Тогда она повернулась, приподнялась, наклонилась над ним, ощущая близость его губ, зашептала:

— А это не чужое. Твое!.. Все тут твое! Любимый мой, славный и глупый! Какой же ты ягненок неразумный! Не бойся. Полюби меня, и я все отдам тебе! — И зажала

ему рот своими губами, чтобы он не сказал, что ему ничего не нужно. Целовала горячо, жадно...

А потом была бессонная и очень короткая ночь. Они говорили без конца. Они как бы спешили высказать все, чего не могли сказать друг другу больше чем за месяц жизни под одной крышей.

Конечно, Адасевой силы у него не было. Но было иное, чего она не знала раньше, — необычная нежность и в словах, и в поцелуях, и в трепетной взволнованности, даже в ударах сердца, которые она слышала, прижимая его к себе.

Олесь признался, что до этого не знал ни одной женщины, она первая. Ольгу растрогало это и наполнило еще большей влюбленностью и радостью. Все, что произошло между ними, казалось совершенно чистым, безгрешным, и совесть не тревожила ее, не чувствовала она вины ни перед Адасем, ни перед дочерью. Вину чувствовал он. Сказал об этом. Ольга ответила поцелуями.

— Не думай, не думай... не нужно. Не твоя вина, моя. Я грешная... Но я не боюсь греха, потому что люблю тебя.

Стала просить, чтобы он никуда не рвался, ни в какую борьбу не встревал, пережил войну у нее и она даст ему все, что нужно для счастья. Сказала — и сразу почувствовала его молчаливую настороженность и отчужденность; он будто резко отстранился, хотя в действительности не пошевелился, только замер в неподвижности. Опомнилась и зареклась: не говорить больше об этом, пусть все идет как идет. И, чтобы вновь приблизить его, сказала:

— А приемник... правда, зачем он нам, если все равно послушать радио нельзя?.. Пусть Лена забирает... Только, если что, не сказала бы, у кого взяла...

— Не скажет, Лена не скажет, — быстро и горячо зашептал Олесь.

— Ты так говоришь, будто знаком с ней с пеленок. Я ее лучше знаю, — сказала вполне спокойно, сама довольная, что прежней ревности нет. Откуда ей быть, той ревности, когда парень принадлежит ей и она знает, какой он действительно ягненок.

Но этот кроткий юноша стал теперь ее властелином, и она отдавала ему все, открывала все тайны. Даже призналась, где прячет пистолет. Сама сказала. В старой иконе, что висит на кухне. Покойница мать сделала в иконе тайник еще во время гражданской войны, когда в Минске по два раза в год менялась власть.

За приемником приехали на грузовике, с камуфляжно, по-немецки, раскрашенной кабиной и бортами. Машина испугала Ольгу. Она только что вернулась с барахолки, где натерпелась страху. Немцы устроили первую массовую облаву. Окружили весь рынок, выпускали через трое «ворот», проверяли документы, вещи, обшаривая даже карманы. Ольга не боялась ареста. За что ее могут арестовать, известную всей полиции, да и некоторым немецким жандармам, торговку? Но испугалась, что лишится добра. В тот день коммерция ее шла выгодно. Она продала муку, соль и нутряное сало не за марки — в оккупационные марки слабо верила, — за перстни золотые и ручные часы, при этом, что важно для душевного спокойствия, не боялась, что ее обманули, подсунули вместо золота начищенную медь: со старым профессором в золотом пенсне, которому очень нужно было поддержать больную жену, она договорилась еще два дня назад. Растроганная его непрактичностью и беспомощностью, дала старику дополнительно фунт пшена, хотя могла бы и не давать. Доброта ее была вознаграждена: за остаток сала и пшена купила отрез чудесного, тонкого сукна, А потом еще больше повезло. На глаза попался тот усатый, красивый мужчина, подходивший к вей еще осенью, в первые холода. Тогда он был в добротном, вышитом золотыми нитками кожушке, шутил, набивался в примаки. Сейчас он мало походил на жениха: похудел, усы отросли и обвисли, как у старика, порыжели, будто

подпаленные; одет он был в замызганный ватник, на голове облезлая заячья шапка. Но на руке у него висел все тот же кожушок, привлекая уже не золотом вышивки, а густой шерстью. Наверное, мужчина запрашивал приличную цену, потому что покупатели сразу «отваливались».

У Ольги далее ёкнуло сердце: вот оно, торговое счастье, весь день не изменяет, два месяца назад привлек ее этот кожушок, «загорелся зуб» купить его, и вот он сам просится в руки. Может, теперь кожушок и не так уж входил в ее коммерческие расчеты. Но сам факт, что вещь, которая когда-то понравилась, снова попалась на глаза, принуждал обязательно купить ее. Нужно показать гонористому пану, кто тут хозяин, в этом людском водовороте, — он, полинявший, или она, по-прежнему краснощекая. Так и подумала с веселой игривостью: «Сейчас ты увидишь, кто здесь щука, а кто карась».

— Продаешь?

Он тоже узнал ее, засмеялся.

— А ты, красавица, повсюду. Где же твои драники?

— Дров нет, чтобы печь, — засмеялась и Ольга.

— Жаль. Как бы я съел сегодня горячий драник! — Мужчина сглотнул слюну и постучал сапогом о сапог — замерзли ноги.

Тем временем Ольга развернула кожушок и по-мальчишески свистнула: красная и золотая краска сильно загрязнена как раз спереди, где вышивка, будто в кожухе грузили дрова или ползали по земле.

— Сбил пан цену своему товару.

— Я дам рецепт, как почистить.

— Сам почистил бы.

— Не хватает времени.

— Какой занятый пан!

— Да уж...

Ольга вернула кожушок, давая понять, что в таком виде он мало интересует ее. Посочувствовала, как хорошему знакомому, без насмешки:

— Напрасно не продал тогда. Я хорошо заплатила бы.

Но ему явно не хотелось говорить с привлекательной торговкой серьезно, он паясничал:

— Если бы согласилась взять в придачу...

Ольга вспомнила Олеся, необычность его ласк и не меньшую необычность своих чувств и засмеялась, глядя на рыжие усы.

— Если бы у пана не было таких усов... Я боюсь усатых.

— Для такой женщины головы не пожалеешь, не то что усов.

— Теперь уже поздно.

— Вот как? Повезло же кому-то! А мне усы, выходит, помешали. А я на них такие надежды возлагал...

Ольга подумала, что кожушок и в таком виде пригодится Олесю. После воспаления легких ему нужна теплая одежда. А что загрязненный, то это, пожалуй, хорошо — меньше будут внимания обращать. Такому, как он, лучше быть незаметным. Снова взяла кожушок, пощупала шерсть.

— Что просишь?

— А что дашь?

— Сало. Самогонку.

— Марки. Мне нужны марки. Фабрику хочу купить.

— А пан веселый.

— Вижу, пани тоже не унывает.

Веселый, веселый, а за цену стоял упорно, не хотел уступить и десятки. Ольга недовольно подумала: «Ишь ты, торгуется лучше нас, базарных баб».

Но опять же уплата марками вышла ей на счастье. Бутылка самогонки осталась нетронутой и помогла ей выскочить из облавы. Отдала бутылку знакомому полицаю, и тот вывел ее из окружения через тайный, известный только им, полицаям, лаз в дощатом заборе. Каждый что-то выгадывал себе в этом вертепе: немцы — себе, полицаи — себе, за счет таких, как она, у кого было чем откупиться. Конечно, ее не арестовали бы, тех, кто имел аусвайсы, отпускали, но кошельки многих и даже карманы пустели. Во множестве приказов и постановлений расписывалось, чем можно торговать, а чем нельзя. Постановления часто противоречили друг другу. Этим пользовалось если не само СД, то те, кто помогал ему, — солдаты охраны тыла, полиция. Во время облав нагло грабили и подозрительных, и неподозрительных. И никто не жаловался. Кому пожалуешься? И на кого? Лучше подальше от лиха.

Домой Ольга вернулась довольная — торговля вышла удачнее, чем она надеялась, и из облавы выскочила без особенных потерь. Рассказывала Олесю о кожухе, о его бывшем хозяине и об облаве весело, со смехом. А потом, спохватившись, спросила тихо, с тревогой:

— Не приезжали?

— Нет.

Ей не понравилось предупреждение Лены, что за приемником приедут на машине в воскресенье: казалось, было бы проще Лене перенести его к себе как-нибудь вечером, на комаровских улицах патрули редко ходят.

Больше, чем немецкий грузовик, испугало Ольгу то, что из кабины выскочил и пошел к воротам тот усатый, у которого она три часа назад купила кожушок.

Вошел он смело, с грохотом, как странствующий портной, только, открывая двери, вежливо попросил разрешения:

— Можно?

Увидел Ольгу, удивился, сделал большие глаза, комично встопорщил усы, коротко хохотнул.

— Ай да встреча! Везет мне.

Но застывшее Ольгино лицо — не веселая торговка, а сурово озабоченная и встревоженная хозяйка стояла перед ним — заставило его виновато понуриться и тихо сказать пароль:

— Привет вам от Фаины. Она просила забрать ее чемодан.

— Как там племянник растет?

— Петька? Начал ходить.

Олесю, который из романов знал пароли замысловатые, с глубоким смыслом, такой бытовой пароль-диалог показался наивным, неумелым, и это его немного встревожило. Не понравилось, как усатый хохотнул, сразу выдав знакомство с Ольгой. Но сам человек понравился. Особым чутьем солдата Олесь почувствовал в нем командира, волевого, опытного, и решил, что это не кто иной, как сам руководитель подпольной группы, таким его себе и представлял.

Олесь выступил вперед, протянул руку.

— Добрый день, товарищ. — Голос его дрожал от волнения.

— Добрый день, — сказал усатый не как приветствие, а как похвалу дню и сжал хилую, немужскую Олесеву руку так, что тот едва не ойкнул от боли; весело блеснув глазами, гость объяснил, почему он добрый: — Я выгодно продал кожушок одной пани.

После этих слов от Ольгиного сердца отхлынул страх, исчезла не свойственная ей конфузливость, от которой она будто одеревенела; сделалось легко, просто, весело, она звонко засмеялась и сказала, как давнему знакомому:

— Балабол ты старый. Испугал.

— Старый? Пани Леновичиха, смилуйтесь, не записывайте в старики. Узнают девчата...

Олесю хотелось услышать от этого человека особенные, очень серьезные, высокие слова — о борьбе. А он скалил зубы с женщиной. Парня нехорошо задело, что они встречались раньше и что Ольга с ним на «ты».

— Товарищ... — попытался Олесь завести разговор.

— Евсей. Мое имя Евсей. К такому имени не подходит ни «пан», ни «товарищ». Просто Евсей...

Олесь понял, что человек, который доверился им, в то же время уклоняется от серьезного разговора. Почему? Кому из них не верит? Ольге? Или, может, ему, бывшему пленному? Плен все еще чувствовал как клеймо, которое жгло и бросалось в глаза людям.

Очень хотелось остаться с усатым наедине и честно рассказать о себе все: что он комсомолец, молодой поэт и готов сегодня же вступить в подпольную группу и исполнить любое задание. Ольга сказала, где спрятан приемник на чердаке, в куче старых стульев, матрасов, ушатов, кастрюль, тряпья. Необходимо полезть туда вместе с Евсеем и там поговорить. Нужно только одеться, иначе Ольга не выпустит за дверь. Но Ольга как бы прочитала его мысли — первая схватила с гвоздя купленный кожушок, накинула на плечи. Сказала усатому:

— Полезли за чемоданом.

Олеся это кольнуло так же, как и слова Ольги: «Балабол ты старый...» Но он тут же пристыдил самого себя. Не до ревности теперь.

Пока Ольга откапывала приемник, Евсей осмотрел чердак, заглянул в оконца — в одно, в другое, — будто выбирал наблюдательный пункт или изучал сектор обстрела. С особенным вниманием и интересом осмотрел ближайшие дома, перспективу кривых улиц, запомнил, где переулок проходной, а где тупик. Вернулся к Ольге, которая заворачивала приемник в дерюгу, сказал все так же весело:

— Командная высота у вас тут. И костра́ мягкая.

Ольга не поняла, какое отношение имеет одно к другому. Тут, на чердаке, наедине с таинственным незнакомцем, делая дело, за которое можно очутиться в тюрьме, а то и вовсе на виселице, она снова утратила свою бойкость и игривость. Говорила приглушенным шепотом. Теперь это был не страх, а что-то новое, значительное и непонятное, как тайна венчания или причастия.

— Хилый твой квартирант. Слабенький. Как ребенок.

— У него душа сильная.

— О, а ему, правда, можно позавидовать. Получить такую похвалу! Что ж, увидим.

Тогда она повернулась к нему и неожиданно для себя попросила:

— Не втягивайте вы его никуда. Зачем он вам, такой? И вправду дитя. Лучше я отдам вам... — Хотела сказать «револьвер», но осеклась, может, потому, что он не выказал удивления, не возразил, не согласился. Даже не посмотрел на нее — проверял, надежно ли завернут приемник. Потом легко подхватил тяжелую ношу, пошел к лестнице.

Ольга спустилась вслед за ним. Он ждал ее в каморке под лестницей, снова придирчиво осматривая ненадежную упаковку. Попросил мешок. Засунул приемник в мешок, напихал по бокам тряпок, чтобы мешок выглядел мягким, не выпирали острые углы.

— Соседям скажешь, что ты продала... Что ты можешь продать?

— Картошку, свеклу. Шерсть. У меня есть шерсть.

Он будто позавидовал:

— Богато живешь.

Ольга вспомнила, как он голодно проглотил слюну, вспомнив о ее драниках. Стоит накормить его, хотя в то же время не хотелось, чтобы он задерживался в доме. Получил что положено — и, как говорят, с богом.

Но предложила:

— Драников нет, а картошка в печи горячая, с салом.

Евсей засмеялся.

— Не хватит кожушка рассчитаться за машину. — И осторожно взвалил мешок на плечи.

Ольга вышла следом за ворота и застыла, ошеломленная: за рулем грузовика сидел немецкий солдат.

Евсей положил приемник на сиденье рядом с шофером. У Ольги мелькнула страшная мысль. Но она успокоилась, вспомнив: «Не хватит кожушка рассчитаться...» И все равно ужаснулась: какой бешеный риск — нанимать немца!

Она сорвала с плеч кожух, протянула ему.

— А кожух? Чуть не забыл кожух.

Он на мгновение растерялся, но тут же схватил кожух, бросил на приемник, засмеялся.

— Спасибо, сестра. — И вскочил в кабину.

У Ольги подкашивались ноги, она долго не могла сойти с места, пока не почувствовала, что сзади, за калиткой, стоит Олесь. Рассердилась, что он вышел так, в одном

пиджачке, без шапки.

— Ты как малый ребенок! Хуже Светки! — С сильным стуком захлопнула калитку, погнала его в дом. — Хочешь снова лежать? Вот же дурень!

За дверью, в сенях, Олесь повернулся к ней и, дрожа будто действительно от холода, спросил:

— Ты видела? Немец!

Немец за рулем испугал парня не меньше, чем ее вначале. Но, сама рисковая, она уже в душе хвалила такую хитрость смелого и веселого человека.

— Не бойся, он правильно придумал. Шофер не станет проверять, что везет, а патрули не остановят военную машину.

— Откуда ты знаешь его?

Ольга силком впихнула его в кухню и там, в тепле, почти радостно засмеялась.

— Боже мой, да ты ревнуешь!

Олесь сконфузился, покраснел.

Ольга обняла его, поцеловала в губы, в лоб.

— Как я люблю тебя! Сашечка, родненький. Никого на свете так не любила! Чем ты меня так приворожил? А того, усатого... Я купила у него кожушок. Как он торговался? За каждую марку! А я отдала ему кожушок назад. Он же его продал, чтобы заплатить за машину.

Смех ее постепенно затихал, теперь она говорила серьезно, смотрела Олесю в глаза и держала за плечи так, будто боялась, что если отпустит, то потеряет навсегда, целовала нервно, жадно. Потом вдруг повернулась к иконе, в которой прятала пистолет, перекрестилась.

— О матерь божья! Как ношу с плеч сбросила. И с

души! На черта он мне, этот приемник! — И вымолвила как угрозу неизвестно кому: — Ну, теперь все! Все! И Ленку эту, партизанку, на порог не пущу. Все. Все! И ничего ты мне не говори! Ничего! Слушать не хочу! — И зажала уши ладонями, хотя Олесь не вымолвил ни слова. — У меня ребенок! Ягодка моя! Кровиночка моя! Сиротинка моя ненаглядная! — Села на кухонный табурет, залилась слезами. — Нет, не хочу! Не хочу! Все! Все! Что вы делаете со мной? Жалости у вас нет к людям...

Такого с ней еще не было. Олесь стоял у дверей, смотрел на нее и молчал, думал, что женщину эту трудно понять, а потому неизвестно, что ей ответить. Может, обнять, приласкать и таким образом успокоить? Шагнул к ней, но она испуганно сжалась, закрылась руками, затрясла головой.

— Нет, нет! Не хочу! Не могу! Не трогайте меня! Не трогайте!

И тогда он подумал, что лучше действительно не трогать ее. Не втягивать в борьбу. Не тот это человек, который нужен в том деле, в которое вступает он... Выполненное задание давало ему право считать себя принятым в ряды подпольщиков. Но вместе с тем как никогда раньше ему сделалось больно от мысли, что он вынужден покинуть этот дом и Ольгу, близость с которой вернула ему радость жизни, теперь он чувствовал к ней не просто благодарность, а то, о чем так много писал и читал... Он любит ее! И рад этому. Но имеет ли он право любить в такое время, связывать свою судьбу с женщиной, да еще с замужней и... с такими взглядами?

Олесь не понимал Ольгу, а Ольга в тот день не понимала самое себя. Поплакать она умела и даже любила. Но чаще делала это с выгодой для себя. Когда-то плакала перед родителями. Перед Адасем. Перед чужими людьми иногда выплескивала такие фонтаны слез, что и у самых черствых смягчалось сердце. А тут? Чего она добивается? Хочет покорить парня? Так покорила уже. Во всем. Кроме одного... В стремлении

воевать с немцами — его мягкая душа тверже металла. Так чего же она может добиться? Что он выполнит свое обещание — уйдет от нее с благодарностью и любовью, как он сказал? Но этого она не хотела. Зачем же тогда грозить, что с приемником все кончится? А может, только начнется? Она внимательно следила за Олесем. Понимала, что в ее интересах быстрее успокоиться, но слез сдержать не могла. За всю жизнь плакала так искренне разве что на похоронах матери. Проснулась Светка, услышала рыданья матери и, испуганная, закричала громко, на весь дом. Олесь первый бросился к ребенку.

## VI

Нет, с приемника ничего не началось. Напрасно боялась Ольга. Напрасно считал Олесь, что приемник дал ему допуск в подпольную группу. Никто его никуда не приглашал. Никто не давал нового задания. Это могла бы сделать Лена, но она не появлялась. Олесь узнал ее адрес и раза два заходил в дом. Встречала мать Лены, вежливо, но настороженно, хотя сразу догадалась, кто он, спросила: «Ольгин родственник?» Без иронии спросила, серьезно, зная, конечно, откуда взяла такого родственника Ольга. Поддерживала легенду, которую засвидетельствовал добытый Леной документ.

Когда во второй раз старуха поспешно сообщила: «А Лены нет дома», Олесь заподозрил неладное, он вспомнил Ольгин плач и крик, вспомнил ее угрозу не пускать партизанку Лену на порог... Неужели Ольга могла устроить такую истерику и тут, у Боровских?

Он чувствовал себя совершенно здоровым и с каждым днем все больше мучился оттого, что сидит в тепле, в сытости, у женской юбки, в то время как идет война, гибнут люди, миллионы его ровесников ежедневно идут в бой. Еще недавно, даже тогда, когда отступили чуть ли не под Вязьму, он мечтал совершить исключительный подвиг, который прославил бы его, пусть и посмертно, и... изменил бы ход войны. Теперь,

после всего пережитого, он не забивал голову такими пустыми мечтами. Познав все ужасы фронта, плена, силу врага, он хорошо понимал, что ни один самый исключительный подвиг любого сверхгероя не изменит хода войны. Для этого нужно одно: как можно больше убить фашистов. Любым способом. Любыми средствами. Он должен стать настоящим солдатом.

Первый выход из тихих и безлюдных комаровских переулков в город — на рыночную площадь, на Советскую улицу — ошеломил Олеся. Сколько их, врагов! Солдаты, офицеры, полицейские, кругом грузовики, легковые машины... На каждом шагу. Поразило даже не их количество. Страх перед многочисленностью врага и страх перед его техникой, которые причинили столько бед в первые дни войны, он преодолел еще на фронте, под Смоленском, вместе с бойцами полка, отбившего за день пять или шесть атак немецких танков.

Он приехал в полк по заданию редакции и впервые видел так близко немцев, их танки. Сам не стрелял, — смешно стрелять по танкам из нагана, — но помогал санитарам выносить раненых. Редактор был недоволен привезенным материалом. А он радовался, что не чувствовал страха, не думал о смерти и не отсиживался в тылу. Попытался написать, что если такой перелом произойдет в душе каждого бойца... Но редактор безжалостно вычеркнул всю «философию», редактор требовал фактов героизма, а фактов у него было мало, — ведь он не успел записать фамилии людей, не до того было. Пришлось редактору брать фамилии из политдонесений. Были это те люди, которые погибли на его глазах или которых он вынес с поля боя? Он не знал. В тот день он не только преодолел собственный страх, но и само понимание подвига на войне переосмыслил.

Нет, не множество немцев на улицах Минска его ошеломило. Их спокойствие, уверенность, устроенность. И то, что наши люди служат им. Он, безусловно, не думал, что жизнь остановится, — чтобы

существовать, люди вынуждены работать на оккупантов. Работающих на заводах и фабриках он не считал врагами. Но оказалось — есть обслуживающие господ офицеров. Он добрался до вокзала, где, как всегда в таких местах, да еще в военное время, было особенно людно. И там увидел категорию служителей, о которых только в книгах читал, — мальчиков-носильщиков и чистильщиков обуви. Их было много. Некоторые исполняли не только роли носильщиков, но и возчиков. На санках-самотяжках, на тачках возили вещи офицеров и солдат в любой конец города. Некоторые уже довольно бойко предлагали свои услуги по-немецки.

Увидел он и молодых женщин, поведение которых, заигрывание с офицерами говорило о их занятии. Все это страшно поразило и причинило боль не меньшую, чем предательство некоторых бывших красноармейцев в лагере военнопленных. Ведь эти ребята вчерашние советские школьники. И девчата, о которых он еще недавно сочинял возвышенно-романтические стихи. Его юность, студенчество совпало с годами всеобщей подозрительности, он верил, что вокруг немало врагов, агентов буржуазии и немецкого фашизма. Но он никогда не мог бы представить в те годы, что прислугой у фашистов станет кто-нибудь из его школьных или институтских приятелей. Какие у него были мечты! Да и у всех его друзей! Любой из них умер бы от одной мысли, что придется везти вещи чужого офицера, врага, оккупанта... Откуда же взялись эти? Не силой же их пригнали сюда? Он попытался поговорить с мальчишками. Но, заинтересованные вначале вниманием к ним, услышав его вопросы, они враждебно настораживались и отходили. Рассудив здраво, детям он простил, даже пожалел их. Но женщинам оправдания не было. Женщин он карал бы самой суровой карой.

На другой день он стоял на площади Свободы перед полицейской управой. Ему хотелось посмотреть в лицо тем, кто пошел служить в оккупационные учреждения, посмотреть в глаза открытых, явных предателей. Что выражают их лица? Они заканчивали работу на исходе

короткого зимнего дня, когда смеркалось. Но день был ясный, морозное небо полыхало ярким закатом, и он увидел их и убедился: не было в их глазах ни страха, ни раскаяния. Они выходили группами, мужчины и женщины, и весело переговаривались, смеялись. Правда, расходясь в разные стороны, люди эти спешили, ускоряли шаги. Боялись. Чего? Темноты? Приближения комендантского часа? Но наверняка у каждого из них есть ночной пропуск.

Отдельно из управы выходили немцы. Офицеры.

«Инструкторы». — подумал Олесь.

Немцы так не спешили. Они чувствовали себя хозяевами, пока не стемнело.

Потом Олесь даже не мог вспомнить, почему, с каким первоначальным намерением, он пошел за этим немцем. Кажется, без всякой цели, из чистого любопытства: куда немец пойдет? Где он живет? А может, потому, что немец как никто другой залюбовался небом. Он вышел из двери один и несколько минут стоял на крыльце; потом остановился на площади и посмотрел назад, где полыхали самые яркие краски заката.

Возможно, Олеся оскорбило, что фашисту может быть свойственно что-то поэтическое. Не имеет он права любоваться нашим небом!

Немец был молодой, высокий, красивый, типичный ариец, в мышастой шинели с меховым воротником, из-под которого были видны погоны обер-лейтенанта, в высокой фуражке с кокардой, с толстым желтым портфелем в руке.

А может, Олесь пошел следом потому, что, пройдя мимо, немец не обратил на него никакого внимания, не глянул даже. Почему? Из презрения? Задумался? Из уверенности, что ничто тут, в чужом городе, ему не угрожает? Или посчитал Олеся служащим управы?

Офицер пошел на Интернациональную, а потом по крутому спуску на Пролетарскую. Деревянный тротуар обмерз, был скользким, и офицер сошел с него, шагал между тротуаром и мостовой, где снег не притоптали и не было так скользко.

Олесь шел по тротуару. Замерзшие доски скрипели, пищали, пели на все лады. Но и на это многоголосие немец ни разу не обернулся. Для него было естественно, что в городе кто-то шел сзади, кто-то впереди. На Пролетарской народу было больше, и асфальтовые тротуары почищены дворниками. Перейдя мост через Свислочь, немец начал подниматься на Замковую гору.

Олесь только тут, на подъеме, почувствовал, как быстро тот идет; у него, обессиленного болезнью, началась одышка, застучало в висках.

Смеркалось, погасло пламя заката, в небе загорелись звезды.

Свернув на пустыре около темной коробки оперного театра на протоптанную тропинку, офицер впервые оглянулся и, кажется, встревожился, потому что остановился, как бы ожидая его, Олеся,

Олесь сообразил, что не нужно останавливаться, и тем же ровным шагом приблизился, почтительно отступил в снег, обходя офицера, и поздоровался:

— Гутен абенд, герр офицер.

Немец ответил:

— Гутен абенд, — и добавил еще что-то, Олесь сделал вид, что понял, пробормотал:

— Я, я, нах хауз. Фрау,.. Жена ждет…

— О, жена! — сказал немец и добавил что-то по-немецки, — наверное, пошутил, потому что сам засмеялся.

На глаза попалась менее торная боковая тропинка, которая вела к сгоревшим домам над Свислочью, и Олесь повернул туда, быстро шагая по склону вниз.

На другой день Олесь ждал около управы конца рабочего дня. За сутки погода переменилась: мороз уменьшился, небо заволокло тучами, порошил мелкий снег, и потому быстро темнело. Более торопливо расходились работники управы, меньше шутили и смеялись. Неспокойно все-таки у предателей на душе, не чувствуют они себя хозяевами в городе, подумал Олесь. А вот он, мститель, к своему собственному удивлению, был совершенно спокоен. Гулял по площади, засунув руки в карманы длинного и широкого Адасевого пальто. Несколько дней назад он надевал это пальто с чувством вины перед человеком, который где-то воюет по-настоящему, думал с презрением о себе: пригрелся около чужой жены, обул и надел чужое... Теперь не думалось об этом; пальто удобное, легкое, теплое, с глубокими карманами, новое, из хорошего драпа, оно придает вид обеспеченного человека. А кто сейчас обеспечен? Тот, кто работает у немцев! Еще дома Олесь подумал, что вещи Адася на этот раз послужат святому делу. Они необходимы, как и пистолет советского почтовика, погибшего от фашистской бомбы.

Гуляя под окнами полицейского управления, Олесь не задумывался, что может навлечь на себя подозрение, задержавшись на площади после того, как разошлись служащие. Встревожило, что офицер долго не выходит, дольше, чем вчера. Расчеты его строились на немецкой пунктуальности. Только немец мог идти со службы так, как шел вчера тот. Наверное, семью сюда привез, занял лучшую квартиру, обосновался навсегда, потому и любуется небом над городом.

Офицер вышел не один, вместе с ним было еще двое — военный в форме СС и гражданский. Олесь испугался: неужели все трое пойдут вместе? Нет, эсэсовец и гражданский распрощались, пошли в другую сторону — на Немигу. А обер остался на крыльце и, натягивая

перчатки, несколько минут любовался, как кружатся снежинки, опускаясь на деревья в сквере.

Олесь только теперь заметил, что деревья, запорошенные снегом, действительно красивы. И его снова покоробило, что такой красотой любуется фашист, оккупант, Это вывело из странного, какого-то бездумно-застывшего спокойствия. Он вдруг почувствовал, что спокойствие это существует как бы независимо от него, а сам он, тело его, мозг, сердце до крайности напряжены в ожидании того, к чему он шел через многие муки, к чему готовился не только последние сутки... Но к черту все рассуждения, всяческое копание в собственных ощущениях! От этого начинается страх, неуверенность, разлад между умом и волей.

Осталось десять, максимум пятнадцать минут до решающего, самого ответственного экзамена. Обер ходит быстро — длинноногий, спортсмен, наверное. Но что это? Почему он пошел не в ту сторону? По Ленинской пошел, на Советскую. А тут, в центре, в домах, уцелевших от бомбежки и пожаров, работают магазины, кафе, и на улицах многолюдно; гуляют, конечно, в основном те, кто не боится приближения комендантского часа. Если обер зайдет в офицерское кафе или кино, все сорвется.

Олесь не мог примириться с мыслью, что можно прожить еще хотя бы час, два, а тем более ночь, не осуществив своего намерения. У него же все готово и все рассчитано до последнего шага. И враг, конкретный враг, уничтожить которого он получил приказ от самого высшего командования — своей совести, — вот он, в нескольких шагах от него идет с высоко поднятой головой, уверенный в своей безнаказанности. Невозможно отложить кару даже на сутки. Казалось, от того, когда будет заслуженно наказан именно этот пришелец, зависит очень многое не только в судьбе его, сержанта Гопонюка, но и в судьбе армии, народа.

Опасаясь, что обер вдруг нырнет в какие-нибудь двери, куда его, туземца, не пустят (у офицерских кафе стоит

охрана), Олесь ускорил шаг и приблизился к осужденному, рискуя, что своим тяжелым дыханием принудит того обернуться. Вчерашняя встреча произошла в сумерки, но если у немца зоркий глаз, он по внешним очертаниям, по пальто мог запомнить того, кто шел за ним,

Об отступлении Олесь не думал, не мог думать, однако и нового плана не было — где стрелять, когда. Полагался на случай. В смертники себя не записывал, как когда-то в лагере. Спастись необходимо, — именно теперь, как, может, никогда раньше, хотелось жить.

Сжимал в кармане рукоятку пистолета так, что горела ладонь. Горело все тело, жгло внутри, стало душно. Или такое теплое Адасево пальто?

Где он, тот случай, когда с шансом на собственное спасение можно выстрелить в этот ненавистный затылок, в узковатую спину, пружинисто мелькавшую перед глазами?

Людей было много возле магазина. А дальше меньше, но если считать не людей вообще, а солдат, то их на улице больше, чем надо для того, чтобы задержать одного еще не очень сильного после болезни и не очень проворного парня. Спортсменом он всегда был посредственным — и в институте, и в армии.

Офицер прошел кафе, Олесь с облегчением вздохнул и немного отстал, чтобы не вызвать подозрительности какого-нибудь агента тайной полиции. А когда обер перешел Советскую и свернул на Комсомольскую, где дома целого квартала были сожжены, разрушены бомбежкой, а потому и на улице было так же малолюдно, как на Комаровке, как на пустыре возле Оперного театра, Олесь вновь поверил в свою счастливую звезду. Ему явно повезло. Тут все-таки можно выбрать и место, и момент, и есть где спрятаться самому— в руинах. Молниеносно возник новый план. Но уже достаточно стемнело, и нужно опять приблизиться к жертве, чтобы не промахнуться. Рука, конечно, будет дрожать от волнения, это только кажется, что он

спокоен.

И вот этот решающий момент оказался самым трудным. Вдруг не стало сил догнать офицера, возникли муки совести, чего не было до сих пор: ведь нужно выстрелить человеку в спину, убить его неожиданно, из-за угла. Пришлось опять убеждать себя, что это не человек — враг, страшный враг, безжалостный, и не может, не должно быть ему пощады. Обругал себя мягкотелым интеллигентом, моллюском. В этой борьбе с самим собой упустил самое подходящее место. Офицер повернул на улицу Карла Маркса, где уцелевших домов было больше, и прохожие едва вырисовывались в сумеречной снежной замети. Кто они? Свои люди? Немцы?

Вдруг обер неожиданно, не останавливаясь, не замедляя шаг, нырнул в подъезд дома. Олесь кинулся следом, рванул дверь, которая захлопнулась за ним с оглушительным грохотом.

В подъезде горела тусклая лампочка. Офицер стоял на первой лестничной площадке и перчаткой стряхивал снег с воротника. Он не почувствовал опасности, не спрятался, он пришел в гости и не мог принести в квартиру сырость. Повернулся на стук двери, увидел нацеленный на него пистолет и, испуганный, не закричал, не попытался выхватить из кобуры оружие. Уронил портфель и поднял руки, сдаваясь, и прошептал побелевшими губами:

— О майн гот!

Олесь выстрелил дважды. Под сводами старого каменного дома выстрелы прогремели, как из пушки, отдаваясь эхом где-то в вышине. Немец судорожно схватился за перила и повалился на бок, ноги его бессильно скользнули по ступенькам лестницы в поисках опоры и... не нашли ее. Где-то на верхнем этаже открылась дверь, и кто-то крикнул по-немецки.

Трудно было не побежать, не броситься к руинам, но Олесь заставил себя идти спокойно. Прикинул, когда

поднимется тревога и будет организована облава. В доме, конечно, живут немцы, офицеры, у них есть телефон, связь с СД, с полицией. Так что можно считать — тревога уже поднялась. Теперь важно определить район оцепления и постараться выйти из него. Было сильное искушение броситься в руины и пробираться по ним вниз, к Свислочи, дальше от центра. Но тут же вспомнил собак-ищеек. Конечно, по следу пустят собак...

Он прочитал не только всю эпопею о Шерлоке Холмсе и другие детективы, но и многие серьезные книги о методах подпольной борьбы в разное время, в разных условиях — о народовольцах, большевиках, подпольщиках гражданской войны, о гарибальдийцах, болгарских борцах против турецкого рабства, французских революционерах... Как, какими способами эти мужественные люди обманывали опытнейших сыщиков, организовывали побеги из самых страшных тюрем...

Планируя прошлой ночью, как он убьет фашиста, как будет уходить от преследования, — Олесь вспомнил и надеялся использовать многое из прочитанного. Но сменились обстоятельства, сменилось место действия. И нет времени подумать. Приходится полагаться на интуицию. Собаки не пойдут там, где след его затопчут чужие сапоги, чужие запахи. Значит, самое правильное — выйти на центральную улицу, на Советскую, где в это время еще немало прохожих.

Было бы хорошо спрятать пистолет, он понимал, как опасно уходить с ним. В немецких приказах за одно только хранение оружия — смертная казнь. Но где же его спрячешь? Как? Забросить в руины, навсегда лишиться оружия он не мог, — ведь это все равно что лишиться его в бою. В конце концов, он шел на большой риск, почти не оставлял шансов на спасение, намереваясь стрелять на улице. Ему повезло, что офицер вошел в дом на тихой, почти безлюдной вечером улице.

Он вышел на Советскую, перешел на левую сторону, где

прохожих было больше, гуляли офицеры, солдаты, женщины. Примет тревоги все еще не было. Но больше всего радовало его собственное спокойствие. Он даже не рассчитывал, что, осуществив задуманное, будет так спокоен. Чувствовал себя так, словно выполнил очень нужную, неотложную работу, хорошо выполнил, мастерски, и, довольный собой, своим умением, вышел погулять, подышать свежим воздухом, полюбоваться снегом. Как красиво он кружит, снег!

Прошла легковая машина с включенными фарами. В их свете снежинки казались серебряными мотыльками. Но машина эта была и первым сигналом тревоги. Она очень быстро промчалась в ту сторону, в центр. Он не стал оглядываться, куда машина повернет — не к месту ли происшествия? Ускорил шаг. Теперь это можно было сделать — начался спуск к Свислочи. Тут почти все спешили, и не только сейчас, перед комендантским часом, но даже днем — он это заметил еще в первый выход сюда, в город. Этот спуск будто суженное русло реки, где течение ускоряется, так ускоряется и людской поток.

Тревогу услышал на мосту. Завыли не сирены — грузовики где-то на площади Свободы, около полицейского управления. Там же в снежное небо взлетели три красные ракеты, — наверное, условные сигналы патрулям. Олесь злорадно подумал, что не такая уж оперативность и налаженность у оккупантов, как они расписывают это, распуская легенды для устрашения людей. Минут десять, если не больше, прошло с момента его выстрела до начавшейся тревоги. Для такого происшествия, да еще в доме, где живут немцы, явно много. Сразу за мостом он повернул влево, в темный, безлюдный переулок.

Ольга кормила на кухне ребенка и встретила Олеся не очень приветливо — сказала будто шутя, но с явным укором:

— Долго ты гуляешь, дорогой мой. Уж не к девчатам ли ходишь? Может, к Ленке?

Олесю хотелось ответить шуткой, восстановить душевный контакт и в этом уютном домашнем тепле, где так хорошо, так мирно пахнет сытной едой, ребенком, свежевымытым бельем, сохнущим на кухне, — вообще всем, чем может пахнуть человеческое жилье, — забыть о том, что случилось какой-то час назад. Исполнил свой долг — и забыл. Как на фронте. Но ничего сказать не смог, не потому, что не нашел шутливо-веселых слов, а потому, что вообще не мог вымолвить ни одного слова: вдруг сжало горло, стиснуло в груди, зашумело в голове и так повело в сторону, что он испугался, как бы не потерять сознание, не упасть. Отчего это? От быстрой ходьбы? Петляя по темным улицам и переулкам, он не шел — бежал. Кончился запас спокойствия, уверенности, как горючее в самолете, и после сигналов тревоги он думал об одном: дотянуть бы до базы, там безопасность и отдых. И вот «горючее» кончилось совсем, силы оставили его. Осторожно, как пьяный, который боится поднять шум, он расстегнул пальто, размотал с шеи шарфик, повесил на вешалку в «зале». Ольга, встревоженная его молчанием, наблюдала за ним через открытую дверь, хотя рассмотреть лицо не могла — лампа горела в кухне, а в «зале» было темно.

Олесь прошел в свою комнату, но тут же вернулся и что-то переложил из кармана пальто в карман пиджака. Это еще больше встревожило Ольгу: связался все-таки с теми, с Ленкиными друзьями, и принес, дурень, что-то запретное.

— Светик, еще одну ложечку! А вон, глянь, зайчик в окошко смотрит, ест ли Света кашку...

Уговаривая малышку, она вздрогнула: показалось, что и правда чужие глаза следят из темного окна. Посидела неподвижно, подумала о своей тяжелой судьбе, о душевной раздвоенности, о том, как лучше поговорить с Олесем, чтобы навсегда выбить из его горячей головы эти мысли — о мести немцам. Есть кому мстить без него. Нужно наконец проявить характер, свой, леновичский. А то так недолго и до беды. Если не

думает о себе, пусть подумает о ней, о ребенке. Хотя что ему чужой ребенок! Ему Сталин дороже. Мать не вспоминает так часто, как Сталина.

Ольга настроила себя воинственно, на самый суровый разговор, но не очень была уверена, что разговор такой получится: чем ему можно пригрозить, чего он испугается?

Накормила дочь, перешла с ней в «зал», перенесла туда лампу и позвала с той грубоватостью, в которой была и шутка, и угроза:

— А ну, иди сюда, голубчик! Поговорить нам надо.

Олесь не отозвался. Ольга забеспокоилась.

— Саша! Не уснул ли ты?

С лампой вошла в его комнату. Нет, он не спал, но лежал на кровати, нераздетый, в обуви, чего никогда не разрешал себе, только свесил ноги, чтобы не загрязнить сапогами белье, а на грудь натянул смятое одеяло. Его сильно лихорадило, колотило всего, даже зубы стучали.

Ольга поставила лампу на столик, испуганно наклонилась над ним.

— Саша, что с тобой? Заболел? Говорила же, что рано еще гулять... Боже мой, как тебя трясет! Что случилось?

Что случилось, он знал, но почему «вибрация» началась так поздно, понять не мог и потому испугался — от мысли, что, наверное, не пригоден он к такому делу, не помнил, чтобы у кого-нибудь из героев прочитанных книг после убийства врага наступало подобное состояние. На дуэли, бывало, убивали не врага — бывшего друга, и победитель спокойно уезжал с места события... «Слабые, значит, нервы», — думал он. Но непригодность свою признать не хотел: «Ничего, закалюсь! Первый раз все трудно дается».

Хотел скрыть лихорадку от Ольги, потому залез под одеяло, надеясь, что, если согреется, все пройдет.

Естественно, что в совершенном поступке он ни в коем случае не собирался признаваться Ольге, только Лене, да и то после того, как она свяжет его с подпольной группой.

Но, проявляя такую необычную слабость, он почувствовал себя униженным перед женщиной, и ему захотелось как-то возвысить себя, сказать ей, что не глупость, не насморк, не испуг перед собакой или патрулем причина его лихорадки, все гораздо серьезнее. И он, заикаясь, признался:

— Я… я у-убил не-емца… оф-фи-цера.

Странно. Сказал — и озноб начал проходить, может, потому, что передался Ольге: она держала его руку, и ее рука похолодела, задрожала.

— Где? — спросила она шепотом, будто совсем обессилела.

— На Карла Маркса. В подъезде дома, где они живут, — ответил он тоже шепотом, но уже гораздо спокойнее.

— Как?

— Из пистолета.

— Из того?

— Из этого. — Он достал из кармана пиджака пистолет, показал его из-под одеяла и другой рукой нежно погладил дуло.

Ольга почувствовала запах пороха от недавних выстрелов и окончательно убедилась, что это не сон, не шутка, что все правда

— Боже мой! Что ты наделал?! — И начала отступать от него со страхом, осторожно, как будто шла по минному полю или по горячим углям.

А он вдруг сбросил одеяло, засунул пистолет обратно в карман, сказал уже громко:

— Пойми... я не мог иначе... Теперь я почувствовал себя человеком, бойцом... Я убил врага... А это... так, с непривычки, — кивнул он на кровать, имея в виду лихорадку, будто оставил ее там, под одеялом.

Ольга отступила к двери, не спуская с него широко раскрытых глаз, смотрела с ужасом и вместе с тем с удивлением. Она никогда раньше не верила, что этот интеллигент, деликатный мальчик способен на такое; одно — слова, которые он говорил, к любым словам она относилась с недоверием, совсем другое — дело, поступок. Она пятилась от него, пораженная и испуганная, а Светка притопала к Олесю, протянула ручки, просясь на руки. Ольга бросилась к дочери, схватила, как бы обороняя от него, прижала к себе так, что малышка испуганно заплакала.

— Деточка моя дорогая! Что же это на наши головы валится? Какую беду он нам принесет? Боже мой! Что ты за человек? Что ты за человек?!

Она вышла в «зал», ходила там вокруг стола, укачивала ребенка, успокаивала, но материнский страх, тревога передались и Свете — она плакала не переставая. В темноте Ольга наскочила на стул, он упал, загремел...

Олесь вынес в «зал» лампу, повесил над столом. Он совсем успокоился и почти радовался, что победил и такого врага, как нервный шок, появились уверенность и такая же решительность, какие были несколько часов назад, когда, вооруженный, он выходил из дома. Видимо, Ольга почувствовала это, потому что спросила:

— Что же нам теперь делать?

— Да не бойся ты. Если там не схватили, то теперь нечего бояться.

— Дурак ты, дурак! — выругала, но не зло, не грубо, теперь в ругательстве звучало и какое-то уважение. —

Что ты понимаешь! У них собаки, у них сыщики. Ты не знаешь, как они ищут! Да они по следу под землей найдут.

— Если бы они шли по следу, то схватили бы сразу. Я по Советской шел, мимо кино, там давно мой след затоптали.

— Много ты знаешь! Ничего ты не знаешь! Да собаки через неделю по следу идут. И у сыщиков нюх что у собак. — И вдруг со злостью потребовала: — Дай пистолет, я выброшу его к черту! Нашла игрушку, дура-баба, да еще и сумасшедшему такому сказала... С чем играть надумал! Дай сюда!

— Я сам.

Сообразил: если спрячет она, пистолет больше не найти, а расстаться с оружием теперь, когда положено начало, он не мог. Быстро пошел к двери. Ольга не остановила, хотя был он без пальто, без шапки.

На дворе шел снег. Это еще больше успокоило.

Пистолет нужно было спрятать не от СД — от Ольги, ведь наилучший Шерлок Холмс она, хозяйка. Потому он долго топтался под клетью, в дровяном сарае, в хлеву — там Леновичи когда-то держали свиней, — прикидывал, где лучше спрятать. Засунул было в дрова. Нет, ненадежно, не только Ольге, любому постороннему бросится в глаза, что давно, осенью еще, сложенный штабель дров разбирался. Закопать в хлеву? Но без света не замаскировать разрытый навоз! Снег! Снова надежда на снег, он может засыпать место тайника.

Завернул пистолет в тряпку, сунул в сугроб под забором, не сходя с тропинки: вспомнил, как прятала Ольга, поверил в испытанный способ — чем ближе спрятано, тем труднее найти.

Стало холодно, он подумал, что болеть сейчас некстати, и поспешил в дом.

Ольга, одетая так, будто собралась на рынок, — в

пальто, в теплом платке, в валенках, — с лампой в руках ходила по дому, словно искала что-то нужное, без чего нельзя выйти или даже больше — от чего зависит безопасность, сама жизнь. А на диване в уголке сидела закутанная Светка. Она молчала и не по-детски испуганными глазами следила за матерью или, может, за светом, потому что, когда Ольга зашла в его, Олесеву, комнату, малышка беспокойно зашевелилась, а когда приблизился он, заплакала.

Олесь не удивился, что Ольга собралась куда-то пойти, она иногда ходила вечерами к соседям. Поразило, что она хочет взять ребенка. Куда? Зачем?

Ольга вышла из комнаты, цыкнула на дочь:

— Замолчи!

Подняв лампу, осмотрела стены, обвешанные фотокарточками родителей, ее собственными, девичьими, школьными.

Олесь понял, что ничего она не ищет — она прощается с домом. Неужели может так легко бросить нажитое добро? Почему?

— Куда ты собралась? — Он хотел спросить громко, спокойно, но невольно сорвался на шепот, даже самому стало противно.

— Пойду к брату.

— Теперь? Не надо, Оля, — попросил он ласково. — Подумай, что ты делаешь. Тебя задержат, начнут допрашивать... Да и брат... что ты скажешь там?

— А что делать? Что? Скажи мне, умник! — зашипела она, наступая на него с лампой в руке. — Привел в дом беду, а теперь скулишь: «Не на-адо, О-о-ля!» — передразнила она зло.

Отступая от нее, Олесь прижался спиной к горячей печке и от тепла вздрогнул, будто током ударило, но тут же будто дивный бальзам разлился по телу, расслабил

до полного изнеможения; он вдруг почувствовал, как страшно устал, как сильно застыла спина, и печка показалась единственным спасением от любой беды, от любой хворобы. Так же вот хорошо, уютно, в безопасности он почувствовал себя, когда она, эта женщина, привела его в свой дом, по существу полуживого уже, напоила, накормила и положила на теплой лежанке, чтобы отогрелся после лагеря. Благодаря ей он изведал не сравнимую ни с чем радость первой победы и первой мести. Но теперь он не имеет никакого права ставить под удар свою спасительницу и особенно ребенка.

— Проще уйти мне, — сказал он и, помолчав, пообещал: — Я сейчас уйду, не бойся. Считай, что я не возвращался после дневной прогулки...

Но оторваться от печки не смог.

После лагеря, после болезни даже в теплой одежде у него вот так застывала спина, и он страшился холода.

Ольга сразу притихла, отступила, повесила лампу, села на диван рядом с дочерью и широко раскрытыми глазами, в которых были и страх, и удивление, и недоумение, и новое, не понятное ей самой чувство, смотрела на него. Вздрогнула от мысли, что перед ней совсем иной человек, не тот слабый паренек, который так долго, как говорят, дышал на ладан, которого она едва выходила. Она не рассмотрела его усталости. Поразило его спокойствие. Убил человека, пусть себе и немца, подрожал немного (это она понимала) и теперь стоит, будто ничего не случилось, греет спину...

Никто и никогда не называл ее трусихой, все считали отчаянной — под бомбы лезла из-за ящика макарон или тряпки какой-то. И немцев не боялась. Как она с ними разговаривала при первой же встрече! Красноармейца не побоялась взять в дом. Разве не рисковала? Ко всем ужасам войны, кажется, привыкла, и хотя сердце не однажды леденело в бессонные ночи от страшных мыслей, она никогда не теряла способности трезво рассуждать. А тут, когда услышала, что Олесь убил

немца-офицера, затмение на нее нашло, она утратила всю свою рассудительность, практичность, изобретательность. Особенно встревожилась, когда он пошел прятать пистолет. Металась по дому, оделась сама, закутала дочь, хотя совсем не представляла, куда она может пойти. О брате сказала просто так, лишь бы что-то сказать, идти к Казимиру не думала и, конечно, не пошла бы. Отношения их и раньше были не очень теплыми, особенно с его женой. В последнее время еще больше испортились: Казимир проявил «заботу» о ней, узнав, что сестра взяла пленного, пришел и потребовал, пользуясь правом старшего, чтобы она выбросила красноармейца, отвезла в больницу — Олесь в то время лежал в горячке. Ольга поссорилась с братом, выгнала его из дому, она никогда не позволяла командовать собой, и с того времени они не встречались, лишь восьмилетний племянник раза два наведывался, — конечно, родители присылали на разведку.

Ольгу ошеломило и почти возмутило, что Олесь так спокойно греется у печки. Но вместе с тем его спокойствие усмиряло ее панику, теперь она уже наверняка знала, что никуда не уйдет из своего дома. Однако за все, что пережила, за то, что выдала свой страх, захотелось отплатить ему. Сказала почти злорадно:

— Что вы сделаете, такие, как ты? Смерть себе найдете? Немцы в Москву вступили.

— Неправда! Ложь это! — Он почти закричал, шагнув к ней. — Не слушай фашистской брехни! Сколько раз они объявляли!

— Нет, правда, — упорно твердила Ольга и придумала в доказательство то, чего не слышала ни из немецких репродукторов, ни от шептунов базарных: — Московское радио замолчало.

Олесь испуганно осекся, точно захлебнулся. Но слишком тверда была его вера, и он продолжал свое:

— Фашистская брехня! От кого ты слышала? Ты сама

слушала его, радио? Станцию могли разбомбить. Но Москвы... Москвы им не взять! Пойми ты! В Москве — Сталин! — Для него это был самый убедительный аргумент, другие, более многословные, он тоже приводил ей не один раз,

— Собой твой Сталин заслонит Москву?

— Не смей! За Сталиным — народ! Вся страна!

— Не кричи! Сумасшедший! — прошептала она, но без гнева и страха, примирительно, и это остудило Олеся, он замолчал, снова обессиленно прислонился к печке, но тепло лишало воли и силы. Доказывать Ольге то, о чем не однажды говорил, когда она охотно слушала, больше не хотелось. Он закрыл глаза и... провалился в бездну, засыпая. Пошатнулся, раскрыл глаза и не сразу сообразил, что изменилось: Ольга стояла без пальто и раскутывала малышку. Потом унесла дочь, чтобы уложить спать.

Пела ей колыбельную. Все вернулось на свое место. Так повторялось каждый вечер. Так будет повторяться извечно — колыбельная и сон ребенка. И он не думал уже, что нужно оторваться от печки и пойти на холод, в неизвестность, в опасность. Он снова засыпал под слова любимого поэта, он их сам напевал ребенку — Ольга научилась у него:

*Стану сказывать я сказки,*
*Песенку спою;*
*Ты ж дремли, закрывши глазки,*
*Баюшки-баю.*

Возможно, Ольга не выговаривала слова песни, только напевала мотив, возможно, он сам повторял их, убаюкивая себя. Пошатнувшись, просыпался, укорял себя, считая и сон слабостью: все у него не как у людей, не как у героев прочитанных книг — то лихорадит, то клонит ко сну.

Ольга позвала громко, тоном приказа, как сердитая жена мужа:

— Иди сюда! Покачай эту юлу. Может, у тебя уснет.

Чтобы окончательно успокоиться, Ольге необходимо было что-то делать, действовать. Тянуло проверить, не случилось ли чего-нибудь необычного вокруг, не перевернулся ли весь мир.

Олесь спросил вслед:

— Куда ты?

Она не ответила и не остановилась. Только постояла, затаившись, в темном коридоре, слушая, что делается во дворе. Понимала, что если бы они пришли, то загремели, загрохотали бы на всю Комаровку. Однако все равно выглянула из двери осторожно, будто враг мог сторожить за углом. Так же осторожно обошла двор, проверила, нет ли на свежем снегу следов. В темный хлев заглянуть побоялась, только потрогала задвижку. Послушала вечерний город. Он дышал, жил затаенной жизнью. Тут, на Комаровке, где-то на соседней улице, мирно скрипели сани и бодро фыркал конь. А где-то там, в центре, на Советской, громко играла немецкая музыка. Завоеватели веселились. Может быть, у них действительно праздник? Кричали же недавно громкоговорители на рынке, что доблестные войска фюрера вступили в большевистскую столицу. Ольга не была в Москве, но от мысли, что в Москве немцы, у нее больно сжалось сердце.

И вдруг она почти обрадовалась, подумав, что не кто иной, а он, ее Олесь, испортил немцам праздник, если не всем, то некоторым наверное. Пусть жена того, кого нет уже, родители его узнают печальное известие под бравурную, победную музыку. Как она прозвучит для них, эта музыка?

Теперь она и себя почувствовала как бы победительницей. Открыла калитку и уже смело вышла на улицу. Захотелось хозяйкой погулять по Комаровке. Проверить свою внезапную смелость. Если он, Олесь, мог сделать такое, то почему она не может пройтись по улице, на которой родилась, выросла? Наплевать ей на

комендантский час, патрулей! Ей нужно осмотреть не только свой двор, а всю Комаровку! Пусть знают, что Леновичиха никогда трусихой не была и не будет. Если уж рисковать, то до конца!

Возможно, действительно у нее был вид хозяйки, потому что даже полицай в черной шинели почтительно соступил с тропинки в снег и поздоровался, она его не узнала, а он, наверное, ее знал по рынку. Кто тут не знает Леновичихи?

Когда дошла до переулка, где жили Боровские, ем вдруг захотелось зайти к ним. Она же давно не была — сначала из-за своей глупой ревности, а потом неизвестно из-за чего. А напрасно. Ведь все время была убеждена, что Боровские знают больше, чем все остальные комаровцы, а потому и живут иначе — бедно, но как-то уверенно. И теперь ей показалось, что только от Боровских она может услышать что-то такое, отчего многое станет ясным и в голове не будет такой каши. Даже показалось, что и о сегодняшнем случае в городе Боровские уже что-то знают, хотя и понимала, что это невозможно: прошло всего каких-то два часа, не больше.

Удивилась, что у Боровских не были закрыты ни калитка, ни двери: заходи кто хочешь, никого не боятся — ни бандитов, ни власти. Ольга в сенях постучала сапожком в стену, но никто не отозвался, хотя в доме гудели голоса и изредка доносился молодой смех — смеялся брат Лены Костя, ученик девятого класса, вернее, ходил бы в девятый эту зиму.

Боровские всей семьей сидели вокруг стола и... играли в карты, в дурака. Сам старик, Лена и ребята — Костя и двенадцатилетний Андрей, тут же сидела их мать, Мария Павловна, и, нацепив очки, чинила какую-то свитку.

На столе горела коптилка, выгорало довольно вонючее масло, какой-то немецкий суррогат.

Увидев неожиданную гостью, заметно встревожились

Лена и мать. Лена даже приподнялась навстречу и всем видом молчаливо спрашивала: «Что случилось?» Такими же широко раскрытыми глазами смотрела и Мария Павловна, рука ее с иголкой застыла в воздухе.

Ольга успокоила их:

— Зашла проведать, как вы тут. Давно вас не видела. Днем нет времени, а вечером боимся выбираться из своих нор.

— Тебе чего бояться? — недружелюбно бросил Костя. — У тебя такие защитники...

— Ну, ты, брат, гостей так не встречай, — миролюбиво упрекнул сына старый Боровский.

Ольга отметила, что наборщик еще больше ссутулился, исхудал, полысел, но живости, веселости не убавилось ни в его движениях, ни в словах, ни в глазах, будто по-прежнему живет он зажиточно и счастливо. Мальчик и старик даже не прервали карточной игры. Костя кричал на весь дом, с размаху бил потрепанной, засаленной картой:

— А я вашего Гитлера лейтенантом козырным! Вот так! А что, сдался? Даже челка облезла. Будешь ты бит всегда, паразит!

— Костя, не распускай язык, — строго предупредила мать.

А Петр Илларионович смеялся:

— Лена, давай, что там у тебя есть. А то эти красные казаки теснят меня. Снова, смотри, генеральского подбросят.

— А-а, вы хотите на нас Геринга спустить, как собаку с цепи? Тоже мне туз! Чихал я на такого туза!

— Костя!

— Молчу, мама. А что, боишься, что Леновичиха

донесет? Андрейка, сожжешь ей дом, если меня посадят... А-а, у вас еще восьмерочка? Побьем и ее!

Ольга вспыхнула, больно стало от такого приема, ведь ее сюда привели лучшие чувства. Очень захотелось ударить этого щенка — словами, признанием, что если и не сама она, то с ее помощью, ее оружием, сделали нечто большее, чем делает он, шляясь по городу. Но прикусила язык, надулась. Лена возмутилась:

— Поросенок ты, Костя! Ольга моя лучшая подруга.

— Да ну? — кажется, искренне удивился Костя.

— Надеру уши, Кастусь, — погрозила мать и, чтобы загладить как-то неловкость от сыновних слов, уступила Ольге свой табурет. — Садись, Олечка. Не обращай внимания на этого пустозвона. Ремень по нем давно не ходил. Как тебе живется, Олечка?

— Ах, тетечка, живется как гороху при дороге. Вон в чем меня Костя упрекает. А я красноармейца от смерти спасла. А ты что сделал, козел ты безрогий? — бросила Ольга Костику, но тот не принял вызова, даже за козла не обиделся, хотя это была его школьная кличка.

— А я тебе, дорогая сестричка, вот какую бубновую дамочку еще подсуну. А что? Мимо? Андрей, отдай им свою семерку, пусть радуются.

— Ну и бандиты же! — крутил лысой головой и смеялся Боровский. — Где только, черти, так насобачились? Седьмой раз в дураках оставляют.

— До десяти догоним — полезете под стол.

— Так я тебе и полезу, раскрывай рот шире, — сказала Лена.

— А уговор? — закричал младший, Андрей. — Как договорились?

Ольга расстегнула пальто, сбросила с головы платок. Несмотря на все, вдруг стало весело и проснулся

картежный азарт: забыть в игре обо всем, как, наверное, забывают Боровские.

— А ну-ка, Лена, дай я партию скину. Покажу этим хлюпикам, как нужно играть.

— Ух ты, какая сила! — притворно ужаснулся Костя. — Сам фельдмаршал Бош, который вошь!

Играла Ольга в подкидного хорошо, как, кстати, и мать ее, лучших комаровских игроков когда-то в дураках оставляла. Первые же ее ходы заставили Костю задуматься, он перестал балагурить, засвистел мелодию песни «По долинам и по взгорьям...».

Лена стояла за спиной у отца и подсказывала ему ходы. Костя, почувствовав угрозу, взволновался.

— Андрей, не показывай ей карты. А ты еще раз подскажешь — прищемлю нос дверьми! — пригрозил он сестре.

Наверное, чтобы показать доверие к Ольге, Петр Илларионович напомнил, на чем был прерван их разговор:

— Так, говоришь, Костя, «приходи вечером»...

— Да, — засмеялся Костя, и вслед за ним засмеялись все Боровские, даже мать, которая пересела на диван и, делая вид, что нашивает заплату на рукав свитки, в действительности зорко следила за Ольгой, будто хотела по лицу ее, по глазам, по тому, как она играет, как смеется, разгадать ее мысли потаенные. Ольгу это немного смущало.

Старик объяснил, почему они смеются:

— Сегодня Костя гулял по Некрасовской и услышал, как одна тетка через улицу кричала другой: «Настя! Приходи вечером к нам, Антона в партизаны провожать будем!»

— Я даже сел под забором, — засмеялся Костя, —

думал, спектакль какой-то. Нет, серьезно: «Хорошо, говорит, приду». — «И старика веди. Стаканы принесите, а то у нас не хватит на всех».

— Как тебе нравится? — спросил Боровский у Ольги со смешинками в глазах, но серьезно и пытливо вглядываясь в ее лицо, может, потому, что Ольгу это приключение не рассмешило так, как всех их.

— Глупая баба, — осудила незнакомку Марья Павловна.

Старик повернулся к ней, возразил:

— Глупая, говоришь? Ой, нет, мать! Люди живут по своим законам. Неосторожная — это правда.

Сказал он про неосторожность, и Ольга сразу же подумала об Олесе, о его поступке, и сердце тревожно сжалось. Зачем Боровские рассказывают ей, что какой-то Антон собирается в партизаны, да еще выставляют, как напоказ, свою веселость? Не очень она верит, что им так весело от этого случая, такой лгунишка, как Костя, может что угодно выдумать.

Ольга и старик влепили парням «дурака». По условию за первого «дурака» они должны были получить щелчки по носу. Андрей пробовал опротестовать законность экзекуции: играла не Лена, а Ольга. Но Костя согласился: раз они приняли такую замену, то вынуждены терпеть, ничего не поделаешь.

Щелчки давала Лена. Андрейку она пожалела и щелкнула легонько, для вида, а Косте влепила такого «желудя», что у того брызнули из глаз слезы и начался чих.

— Ну, зараза, и бьешь! Не пальцы, а рогатка. А я тебя называю своей любимой сестрой.

Старый Боровский откинулся на спинку стула, закинул голову и залился смехом, как ребенок. Теперь уже и Ольга поверила, что смеется он искренне, и ей тоже сделалось весело, хорошо, уютно в этой семье, она пожалела, что с начала войны почти никогда не

гостила у Боровских вот так, по-соседски.

Мария Павловна любовно смотрела, как смеются муж и дочь, и укоризненно качала головой, как бы говоря: «Какие вы еще дети!»

Играли вторую партию. Костя стал настороженным, молчаливым, не болтал больше, только свистел, поэтому давал возможность остальным поговорить. Мария Павловна спросила:

— Как там твой бедняга, отошел немного?

— Гуляет уже. В город ходит. К людям рвется. Работу хочет искать. А я ему говорю: «Зачем тебе работать на немцев? Помогай мне».

Костя хмыкнул:

— Открой торговую фирму «Ольга Ленович и К°»...

— Костя, получишь по губам, — осек парня отец.

Ольга не обиделась.

— А что ты думаешь? И открою. Хочешь, в компаньоны возьму?

— Капиталов не имею.

— Зазывалой будешь. Крикуном.

— Ну что, съел, сын? — засмеялся Петр Илларионович.

А матери это не понравилось, — шутить шути, но знай меру, — потому отплатила ей:

— Не боишься, что Адась, когда вернется, приревнует? Люди могут наговорить, чего и не было.

— А все было, тетечка. — И сама удивилась такому неожиданному признанию, но была довольна собой, своей решимостью, даже порадовалась, что Боровские сконфузились, добавила: — И будет.

Лена даже застыла с картами в руках, без того огромные глаза на худом лице сделались с яблоко.

А Мария Павловна смотрела с удивлением и укором: как можно такое говорить?

«Что, съела?» — подумала Ольга о ней словами старого Боровского.

— Ой, Олечка! — подмигнула Боровская, показывая на ребят: не нужно при них.

Но даже Костя, занятый игрой, не понял, что к чему.

— А я уже ничего не боюсь!

Боровский посмотрел на Ольгу серьезно, в его глазах не было ни насмешки, ни укора — только интерес.

— Правда, такой смелой стала?

— А что мне!

— Смелость, Ольга, должна быть разумной.

— А кто знает, где она разумная, а где дурная, Разве о ней думаешь заранее? Она, как и страх, приходит, когда не думаешь, не ждешь. Заказать же ее нельзя, смелость. Никто ее не шьет, никто не продает.

— А ты все хочешь купить? — не выдержал Костя.

— На. Побей Черчилля. Ага, не можешь? Почему? Союзник! Антона провожаем... знаешь куда? То-то! Андрей! Заходи с левого фланга! Так, молодчина! Враг окружен. Ура! Последний, решающий удар. Хэндэ хох! Съели! Лезьте под стол все трое.

Костя по-детски радовался победе.

А Ольга поговорила о смелости, о страхе, и он тут же появился, страх, ударил в сердце: она играет в карты, веселится, а там, дома... что там? Не к добру такой смех, такое веселье. Подхватилась:

— Побегу. А то еще на патруль наскочу. Света не засыпала. Оставила Сашу качать... Нашла себе няньку! — Усмехнулась подчеркнуто откровенно.

Лена набросила на плечи клетчатый платок-плед и вышла ее проводить. На улице, убедившись, что вокруг ни души, спросила:

— Ты что-то хотела сказать, Ольга? По глазам твоим вижу.

— Я? Все, что хотела, сказала.

— И спросить ничего не хочешь? — уже совсем таинственно зашептала Лена.

— А что?

— Есть такая новость!

— У тебя? — усомнилась Ольга.

— Гитлеру дали по морде.

— Кто?

— Наши. Под Москвой. Гонят его, гада, назад.

Ольга засмеялась громко, на всю улицу. Лену даже испугал ее смех: очень радостная новость, но чтобы так смеяться, услышав ее... никто так не выражал свою радость.

— Патруль накличешь.

— А я подумала— и вправду кто-то хлестнул его по гадким усикам, — закрыв рот платком, смеялась Ольга, сама понимая, что это нервный смех, разрядка душевного напряжения. Вдруг все, что случилось за день, связалось в один узел: немецкие громкоговорители на рынке, Олесев выстрел, необычное для такого времени веселье Боровских. Теперь поняла, почему они такие веселые!

— Глупая, это в тысячу раз важнее. Армию его погнали,

— шептала Лена. — Завтра принесу сообщение Совинформбюро, ребята приняли твоим приемником.

Ольга обняла Лену, впервые с начала войны, как лучшую подругу, от умиления и нежности хотелось заплакать, спазмы стиснули горло. И захотелось с такой же искренностью все рассказать Лене. Но сдержалась. Поцеловала Лену трижды, горячо, от души, потом шутливо оттолкнула и побежала с проворством подростка. Бежала, как сумасшедшая, пугая людей за закрытыми окнами грохотом сапожек по утоптанному снегу по обледенелому дощатому тротуару. Бежала со страхом — не случилось ли чего дома? — и с радостью, что несет ему, Олесю, любимому безумцу, такую радость. Хотелось верить, что удачи, как и несчастья, ходят рядом.

## VII

Олесь так не волновался, охотясь за гитлеровцами, как волновался сейчас, направляясь на явочную квартиру. Там был просто экзамен. Он держал его перед самим собой. А тут должен предстать перед высшей комиссией, которой предстояло решить, выдержал ли он тот и все остальные экзамены. Быть или не быть? Примут или не примут?

Мог бы подумать: уже сам факт, что его позвали на явочную квартиру, где, конечно, будут руководители подполья, свидетельствует о том, что его признали, ему верят. Но нет, не тот характер, всю жизнь он сомневался в своей силе, в своих знаниях, способностях, таланте и считал, что редко ему везло, редко у него все получалось сразу так, как он хотел, как мечтал.

Одно он умел — смотреть на все глазами других. И он поставил себя на место руководителя подпольной группы. Требования к тем, кого бы он принял в свою группу, были очень высокие. Даже в отношении самого себя он серьезно задумался бы — подходит ли? Одно достоинство у него безусловное — неодолимое желание

бороться, мстить врагу. Но это нужно доказать, любые слова, уверения и клятвы при решении такого вопроса, как вступление в подпольную организацию, ничего не значат, словам в такое время и в таких условиях нельзя верить. Нужны дела, только дела. А что он сделал? Приемник, убийство фашиста. Передача приемника не его заслуга, скорее всего Ольге самой хотелось избавиться от вещи, которую нельзя продать и за которую оккупанты могли покарать. Но задание это он получил от Лены и, можно сказать, выполнил. А фашист... Все произошло так, что теперь, через несколько дней, ему самому кажется маловероятным такой поступок, и, будучи руководителем, он лично вряд ли поверил бы в него. Поверили женщины. Ольга — от страха, увидев, как его трясет нервная лихорадка. Лена... Почему сразу поверила Лена? По своей душевной доброте и женской доверчивости? Лена одна видела, из какого пекла они его вызволили, она и Ольга. Лена верит его словам и его делам, в его ненависть и его радость... С Леной их роднит общая комсомольская убежденность. Позавчера они вместе плакали, когда Лена принесла сообщение Совинформбюро о разгроме немцев под Москвой. Он, мужчина, не стыдился слез. И в порыве благодарности рассказал Лене о своем маленьком подвиге.

Ольга, вернувшись от Боровских, сказала о разгроме немцев не сразу, спустя время и как бы между прочим, словами Лены, но с оттенком неуверенности: «Говорят, Гитлеру дали по морде под Москвой». И потому в тот вечер он не мог порадоваться по-настоящему. Ольга более подробно рассказывала о Боровских — как голодная семья весело играет в карты. Осудила их по-своему, как торговка: «Голодранцы всегда веселые. Что им терять?»

Олесь не помнил, что ответил на это, что-то нейтральное, примирительное, потому что и Боровские, и сообщение о Москве — все прошло как-то мимо него. В тот момент его не покидала страшная, просто смертельная усталость. Он спал, убаюкав малышку, проснулся, когда вернулась Ольга, и слушал ее

спросонья. Вот такой он герой. Теперь о том вечере, о лихорадке своей и сонливости, неприятно было вспоминать.

Пробираясь по засыпанной снегом (второй день мела метель) улице Пушкинского поселка, Олесь думал о главном — о своем вступлении в организацию. Однако не мог совсем отрешиться и от мыслей о своих сложных отношениях с Ольгой, о своих чувствах. После всего случившегося с ним невольно начал размышлять над тем, что люди называют судьбой. С Леной у них много общего, одни идеалы, одни взгляды. А неумолимые обстоятельства, которые, выходит, сильнее его воли, связали с Ольгой. И это не какая-то пошлая связь. Без сомнения, Ольга любит его. Ради него преодолевает страх, иначе давно могла бы выгнать такого квартиранта. Можно ли остаться равнодушным к ее чувству? Но во имя великого дела он должен порвать с ней. Уйти от нее. И теперь это для него, может быть, самое суровое испытание, самый жестокий экзамен. Но если там скажут, что так нужно, он, наверное, уже не вернется в теплый, уютный дом на Комаровке.

От мыслей таких было тяжело на душе, становилось холодно, стыла спина под густой шерстью старого кожуха покойного Леновича. Попытался настроить себя против Ольги. Как можно ему, комсомольцу, любить женщину, для которой чуждо все, что дорого ему? Но тут же возражал сам себе: не так все просто, Ольга, рассуждая аполитично, в то же время сделала немало полезного, не скажешь, что она не советский человек. Не из враждебной среды, дочь рабочего. Так имеет ли он право бросать ее на перепутье? Оскорбленная в своих чувствах, не перенесет ли она свое возмущение и на саму цель их борьбы? За кем тогда она может пойти? За полицаем Друтькой? Думать так было больно, мучительно рвалась душа. Хорошо было бы обо всем рассказать руководителю, на встречу с которым идет. Не сомневался, что это один из партийных работников, опытный и мудрый человек. Но чувствовал, что юношеская застенчивость не позволит ему сказать правду о своих отношениях с Ольгой. Что подумает о

нем руководитель? Соблазнил жену бойца Красной Армии, фронтовика... Вот и принимай такого в подпольную группу, поручай ему ответственные задания...

Недоверия к себе он боялся больше всего. И еще боялся — не притянуть бы за собой на явочную квартиру «хвост». Долго петлял по улицам, оглядываясь на углах, не идет ли кто за ним. Настораживало безлюдье. На отдельных улицах протоптанные раньше тропинки так замело снегом, что ему пришлось первому прокладывать след. Этот собственный след пугал — след одного человека всегда привлекает внимание. Потом он убедился, что бродил напрасно, думая, что явочная квартира должна быть на глухой улице.

На улице, которую он искал, проторена была не только тропинка, но и дорога — прошли машины. И немало ходило людей, присутствие которых как-то сразу успокоило, будто они, эти люди, заслонили его от вражеских глаз. Даже немецкие солдаты не испугали, наоборот, подбодрили: враги были рядом и сами затаптывали его след. Тут не на кого было оглядываться. Все очень просто. Место выбирали опытные люди.

Квартира находилась в двухэтажном деревянном доме. По скрипучей лестнице Олесь поднялся на второй этаж. В двери был механический звонок, но Олесь почему-то не отважился покрутить его, постучал в филенку застывшими пальцами. Ему открыла женщина неопределенного возраста, перевязанная по груди теплым платком.

— Я от Лены, — сказал он.

Так сказала ему Лена, немного разочаровав: ему, романтику, хотелось затейливого пароля — и вдруг так просто. У женщины тоже не было ответного пароля, обычное, вежливое:

— Проходите, пожалуйста.

Но в тесный коридорчик выглянула из комнаты сама Лена Боровская, непривычно одетая — празднично, в ярко-зеленой кофточке. Она приветливо улыбнулась, принимая из его рук шапку.

— Раздевайся, Саша. Сегодня у нас тепло.

Комната, в которую он вошел за Леной, удивила торжественностью, хотя ничего особенного в ней не было, Торжественность комнате придавал отблеск снега, яркий свет, что лился через широкое окно, небогатые, но чистые гардины, веселые, с васильками на золотистом фоне, обои. Возможно, впечатление праздничности и торжественности было еще оттого, что в комнате не было ничего лишнего, не то что в Ольгином доме, заваленном разным барахлом. Аккуратно застланная никелированная кровать, небольшой буфет, книжная полка, с которой большинство книг было убрано, что выдавали обои, не выгоревшие там, где стояли книги. На стене висела репродукция картины Шишкина «Утро в сосновом лесу», другая картина была снята и гвоздь вырван, но предательские обои все равно выдавали. Олесь подумал, что здесь мог висеть портрет Ленина. Как раз такой по размерам портрет висел в его доме. И вообще все тут напоминало комнату его матери, где всегда был вот такой учительский порядок. От этого сходства защемило сердце.

Не сразу сообразил, что наибольшую торжественность комнате придавал стол, накрытый по-интеллигентному: белая скатерть, небольшой блестящий самовар, фарфоровые чашки и в плетеной хлебнице тонко нарезанные ломтики черного хлеба, который выдавался по немецким карточкам. Сахару не было, И закуски никакой. Олесь вспомнил, что утром Ольга кормила его картошкой с салом, и ему стало стыдно перед этими людьми.

За столом, спиной к двери, сидел человек в форме железнодорожника и вкусно пил чай, по-купечески причмокивая. Он не оглянулся, когда Олесь вошел, не проявил интереса. Другой — весельчак Евсей,

приезжавший за приемником, — вежливо улыбнулся Олесю, как хорошему знакомому. Олесь подошел к нему и пожал протянутую руку. И в тот же миг застыл, удивленный: на противоположной стороне улицы размещалась военная часть, стояли машины, расчищали тропинки солдаты. Все это было видно из окна как на ладони.

Увидев, что Олесь смотрит в окно, Евсей весело засмеялся:

— Хорошая у нас охрана, правда? Механизированный полк.

— Отчаянная ты голова, — сказал человек за столом.

Олесь повернулся к нему. Человек был старый, лет под пятьдесят, дня три не брился, от этого выглядел суровым, понурым и как-то не подходил к окружающей торжественности, к столу, к чашке тонкого фарфора, которую он зажал в ладонях больших, пропитанных машинным маслом рук. Было боязно, что он раздавит чашку.

Олеся немного обидело, что железнодорожник даже не кивнул ему в знак приветствия, хотя рассматривал его пронизывающе, нахмурив мохнатые седые брови.

Вошла из кухни женщина, открывшая ему. Вежливо пригласила:

— Садитесь, Саша, пить чай. Самовар горячий. Меня зовут Янина. Янина Осиповна. А это мой брат, — показала она на железнодорожника, — Павел Осипович.

Олесь посмотрел на них и подумал, что не похожи они на сестру и брата — по внешности, по разнице лет, по характерам. Всмотревшись, определил, что хозяйке не больше тридцати. Она красиво улыбалась, при этом поблескивал золотой зуб. Явно интеллигентка, а платком перевязалась по-крестьянски. По тому, как Евсей одет — в тесноватый, чужой лыжный костюм, как

он ходит, мягко, по-кошачьи ступая, Олесь понял, что он не в гостях, а живет тут. Но по каким-то неуловимым признакам угадывалось, что полным хозяином Евсей себя не чувствует.

Янина Осиповна сказала ему:

— Андрей Иванович, садись ты, пожалуйста. Мало находился?

Олесю стало веселей. Оттого, что Евсей не Евсей. И от неожиданного открытия, что Евсей-Андрей, пожалуй, тут на таком же положении, что и он у Ольги. Значит, не один он, а и этот зрелый уже человек, руководитель, должен был искать себе приют. Это определенным образом сближало их, во всяком случае, теперь ему не было стыдно перед этими людьми за свои отношения с Ольгой. Вряд ли ему нужно открывать эти отношения и, как намеревался, просить у руководителей разрешения не оставлять свою теперешнюю квартиру. Мысли, с которыми шел сюда, показались наивными. Однако Янина Осиповна не Ольга. У Андрея — товарищ по борьбе. А у него?

Янина Осиповна налила чаю.

— Пейте. — И как бы извинилась: — Сахару нет.

— Сахару немцы не дают, — добавила Лена.

Чай пахнул брусничником и липовым цветом, таким чаем поила Ольга, когда он лежал больной.

Атмосфера застолья нравилась: именно так, за чаем, собирались революционеры-подпольщики в царское время, о них он прочитал почти все, что написано писателями и историками.

Павел Осипович без всякого вступления спросил:

— Знал, в кого стреляешь?

— В фашиста.

Железнодорожник сдержанно улыбнулся, и улыбка открыла сходство с хозяйкой: да, брат.

— Целил правильно. Инструктор следственной группы полиции. Учил «бобиков», как вести следствие по-гитлеровски. — И тут же вздохнул. — Но за такого гада арестовали наших людей, хватали в тот вечер каждого подозрительного.

Олесь понял: все, что он рассказал Лене, детально проверено.

— Мстил за лагерь?

— За все. За народ.

— Кем до армии был?

— Студентом. Меня призвали с третьего курса. В сороковом.

— Армейская специальность какая?

Павел Осипович выдал себя: так спросить мог только военный, командир, а не простой железнодорожник.

— Был наводчиком в артиллерии, потом — в дивизионной газете. Нас окружили...

Хотел рассказать, при каких обстоятельствах попал в плен, чтобы руководитель подполья ничего плохого о нем не подумал. Но Павел Осипович перебил:

— Пишешь?

— Писал.

— Он стихи печатал, — сказала Лена.

— Вот как? — Павел Осипович искренне удивился и начал рассматривать парня с большим интересом, потом повернулся к Андрею: — Легализовать можем?

— Зачем?

— За поэта они схватились бы. Такие кадры им нужны. Устроить бы его в комиссариат, в их отдел пропаганды.

— Мы его возьмем в диверсионную группу. В истребители, — сказал Андрей. — Готовый террорист.

— Диверсантов хватает. Все рвутся стрелять. Нужно думать о том, чтобы заслать наших людей во все оккупационные учреждения, куда только возможно. Наперед нужно думать. Дальше заглядывать.

— Планировать войну на пять лет? — скептически усмехнулся Андрей.

— На пять не нужно. Но не думай, что победим через месяц. Много крови прольется, ребята, ой, много... — вздохнул Павел Осипович. — Давайте больше не закидывать немца шапками. Дорого мы за это заплатили.

— Через месяц Минск будет наш! — шепотом, но очень уверенно сообщил Андрей.

— Авантюристы вы, ребята, еще раз говорю вам. Ты видишь, сколько их напихано? — кивнул Павел Осипович на окно. — Набиты все казармы, все дворы.

— Дед, идешь вразрез... — мягко, но серьезно, без обычной улыбки своей, сказал Андрей.

— Вразрез не пойду, решение выполню... Но организоваться, организоваться нам нужно сначала. Вот о чем говорю.

— Товарищи... — деликатно предупредила Янина Осиповна, почему-то показав глазами вверх, на потолок.

Короткий спор этот, сущность которого Олесь понял позже, окончательно запутал его. Кто же тут руководитель? Показалось даже, что его дурачат нарочно, но не обиделся, решил, что это необходимо в целях конспирации. Странно было бы, если бы ему сразу, с первой встречи, выложили все карты на стол —

кто король, а кто валет.

После предупредительных слов Янины Осиповны присмотрелся, как уважительно мужчины обращаются к ней, и подумал, что не последнюю роль в группе играет она. Но ему не хотелось быть в группе ни под ее руководством, ни под руководством ее брата. Его тянуло к Андрею, решительному, смелому, уверенному. Он всегда любил таких людей, может, потому, что сам был тихий, застенчивый. Опасаясь, что Павел Осипович будет настаивать на его работе у оккупантов, Олесь, не дождавшись их решения, сказал:

— Я морально не готов работать у гитлеровцев. Я слишком ненавижу их!..

Павел Осипович вздохнул, как бы сожалея, что еще один человек не может понять его. Сказал почти жестко:

— Я ненавижу их не меньше. Однако работаю. Лучшим работником считаюсь. Немцы мне полностью доверяют. А между прочим, я тоже из лагеря. Вот они помогли освободиться, — кивнул он сразу на троих — на Лену, Янину Осиповну, Андрея.

После такого признания человек этот сделался самым близким тут — товарищем по страданию. Олесь уже было подумал: «Нет, не можешь ты ненавидеть, как я, ты не пережил того, что пережил я». Теперь ему сделалось стыдно за то, что он почему-то сразу отнесся к этому человеку не очень приязненно, как бы скептически: мол, легко тебе, дед, рассуждать и планировать войну, как сказал Андрей, на пять лет. А «дед», оказывается, вот кто. Не его ли должна была выкупить Ольга?

— Простите, — сказал Олесь.

— За что? — удивился Павел Осипович.

Андрей засмеялся:

— Ну что, дед? Нравится тебе парень? Я из него сделаю

лучшего диверсанта. А ты его хочешь послать немецкие прокламации писать.

— Прокламации он писал бы наши, но со знанием дела... врага бы знал изнутри, это важно. Кстати, пока Андрей даст тебе задание, напиши стихи о разгроме немцев под Москвой. Хорошо было бы сатиру или такие, чтобы людям петь их хотелось. Мы их листовкой напечатаем. Печатники свои, — ласково посмотрел «дед» на Лену, а потом сказал Андрею, повторяя, видимо то, что уже говорил прежде:

— Нужно, ребята, сочетать все формы борьбы.

Андрей, кажется, согласился с этим, потому что смолчал. Олесь отметил, что про стихи сказано человеком образованным, интеллигентным, даже его друзья студенты когда-то говорили по-русски не «напиши стихи», а «напиши стих», и снова подумал, что этот простой железнодорожник в потрепанной одежде, небритый, до войны занимал немалый пост, да и в подполье, конечно, не рядовой. Одно непонятно — его отношения с Андреем. Кто кому подчиняется? Вчерашний военный, Олесь не сразу мог принять своеобразную партизанскую демократию.

Обрадовало согласие «деда», чтобы задание дал ему Андрей. Но когда? Хотелось получить его тотчас. Вообще по дороге сюда он совсем иначе представлял себе заседание подпольного центра. Казалось, сразу будут команды, как в боевом штабе. А что к нему, в сущности, присматриваться? Он весь душой и телом в борьбе. Он мог бы продолжить ее один, но знает, что сила в организации, потому и искал настойчиво связи.

— Саша, берите хлеб, не стесняйтесь.

— Спасибо, я не голодный.

— Его хозяйка блинами кормит с верещакой. А драники ее на весь рынок пахли. Мне и сейчас снятся те драники. Даже слюнки текут.

Янина Осиповна блеснула золотым зубом, глянув на Андрея влюбленно и с шутливым укором:

— Не нюхай чужие кастрюли.

— Так на рынке же! Не на кухне. Послушайте, если бы вы видели, как она умеет торговать! Класс! Деньги не жаль заплатить, чтобы посмотреть на такое.

Олесю стало стыдно за Ольгу и за себя. Возможно, он покраснел или еще чем-то выдал себя, потому что хозяйка внимательно посмотрела на него и вдруг спросила:

— Послушайте, Саша, можем мы Ольгу приобщить к нашему делу?

— Нам вот так, — резанул ладонью по шее Андрей, — нужен такой человек. Какая связная! И внутри города. И для связи с партизанами. Ее вся полиция знает.

— Веришь ей? — не отводя глаз, в упор, переходя на «ты», спросила Янина Осиповна.

Олесь растерялся и перевел взгляд на Лену. Но Лена на него не смотрела, Лена смотрела в чашку.

— Можешь поручиться? — спросил Андрей.

Парня бросило в пот. Он был готов к любым, самым тяжелым испытаниям, но о таком даже не подумал, а между тем какое оно нелегкое, это испытание. Не поручиться за человека, который спас тебе жизнь, которому ты доверил величайшую тайну? А как поручиться, если человек этот живет совершенно иными интересами, если даже разгром немцев под Москвой Ольгу мало тронул? Нет, не было у него уверенности, что Ольга готова к сознательной борьбе, готова жертвовать жизнью, как к этому готов он.

— А ты, Лена? Ты можешь поручиться? — решительно и нетерпеливо наступал Андрей.

Лена подняла голову и, недобро блеснув глазами,

сурово ответила:

— Я? Нет, я не могу! Кулачка! Живет только ради своей выгоды.

Андрей резко поднялся, ступил к окну, глянул в него. Повернулся. Сказал приглушенно, но раздраженно:

— Эх ты! Один спит с женщиной...

Олеся будто кипятком обдало, он покраснел, как рак.

— Андрей, выбирай слова. — На бледных щеках Янины Осиповны выступили красные пятна.

— Не хочу я выбирать слова. Наплевать мне на ваши интеллигентские тонкости!.. Другая в школе училась, дружила... И не видите человека? Ну, черт с вами! Я поручаюсь за нее! Головой!

— Не бросайся, Андрей, головой! Она у тебя одна.

— Да вы знаете, какая это баба!

— Вот именно потому, что она баба, не спеши, проверь спокойно, — рассудительно посоветовал Павел Осипович, который почему-то к этому спору проявил меньше интереса, чем ко всему остальному. — Такая связная будет знать больше, чем любой из нас.

— Можно, я поговорю с ней? — немного придя в себя, несмело спросил Олесь.

— Нет, плохой ты агитатор, поэт. Лучше я сам поговорю, — уже более миролюбиво сказал Андрей.

## VIII

Олесь не вернулся домой. Вышел после обеда, сказал, что пойдет прогуляться, и до полуночи нет. Ольга понимала, что ждет напрасно, в такое время без ночного пропуска он уже не пройдет. Но от тревоги, страха, предчувствия беды она не только не могла спать, но и лежать в кровати: как привидение, в ночной

сорочке бродила по дому, ступала босыми ногами по полу, не чувствуя холода, пугаясь теней во дворе и в доме.

За окнами лунная морозная ночь. От мороза трещат деревья. Одинокий выстрел прозвучал где-то, может, на Немиге, а показалось — рядом, на их улице. И свист паровозов никогда не был таким близким, будто железная дорога подошла к Комаровке.

Ставни не закрыты, и Ольга заглядывала то в одно, то в другое окно. Не закрывать ставни попросил Олесь, давно еще — его угнетала темнота.

Ольга вспоминала все, что связано с ним, — каждое движение, каждое слово, каждое желание его. Что он сказал, когда уходил? Какие последние слова его были? Ужаснулась, поймав себя на том, что думает о нем как о неживом. Нет, нет! Он жив! Может, впервые почувствовала она по-настоящему, каким дорогим стал для нее этот болезненный паренек, как сильно она любит его. Ничего она не боится, ни от чего ей не стыдно. Сказала Боровским, что между ними все было. Скажет всему свету, пусть только он вернется. Но что из того, что скажешь о своей любви? Что изменится? Все равно его не удержишь. Нет, не то слово «не удержишь». Не усторожишь!

Она вошла в его комнату, с волнением взяла в руки одну книгу, другую... Листала при лунном свете. Голос его звучал из книг.

*Ах, калі б ты магла здагадацца,*
*Як не хочацца мне ухадзіць.*

Из какой это книги? Нет, это не из книги. Это он читал на память. Много читал...

*Разгарайся хутчэй, мой агонь, між імглы,*
*Хай цябе шум вятроў не пугае;*
*Пагашаюць яны аганёчак малы.*
*А вялікі — крапчэй раздуваюць*[4].

А это она нашла сама — у Блока:

*Я сам свою жизнь сотворю*
*И сам свою жизнь погублю.*
*Я буду смотреть на зарю*
*Лишь с теми, кого полюблю.*

Часто повторяла эти строки про себя. Но ни разу не прочитала ему: суеверно опасаясь, что это... о нем. И о ней.

Перемену в настроении Олеся после его выхода в город в тот вьюжный день она почувствовала сразу. Недолго он гулял, часа три всего, а вернулся будто обновленный. Потаенная радость светилась в глазах, в каждом слове, в том, как он разговаривал с ней, как играл со Светой и какие стихи читал.

Ольга догадалась, почему он такой: нашел своих, связался с ними, иной причины для такого настроения у этого человека быть не могло. И ее охватил страх. Но страх был иной, не тот, пережитый ею, когда забирала его из лагеря, когда в их доме делался обыск и даже когда в лихорадке он признался, что убил немца. Тогда она путалась больше за себя. Теперь боялась за него, поняла вдруг, что остановить пария у нее нет сил, что стремление его бороться сильнее ее чар, нежности, теплоты, благополучия, сильнее всего, что, по ее представлениям, могло бы искусить любого.

Выходит, сытная еда, теплая постель еще не все для человека. Ее восхищало, что он т а к о й, не похожий на всех, кого она знала до этого.

Она понимала, что такое долг, и никогда, например, мужу не посоветовала бы уклоняться: все идут в армию, все воюют — и ты иди воюй. Но там иное дело, там заставляет закон, и дезертирство — предательство, за него сурово карают. А он, думала она про Олеся, ведь никого же не предал, не по своей вине попал в плен. Так зачем же, настрадавшись, идти одному на такую силищу? Глянь, сколько их, немцев, полицаев! Это же значит идти на верную смерть. Так она думала раньше

и не только думала — сколько раз пробовала доказать ему. Иногда он горячо спорил, иногда уклонялся от этих разговоров, читая ей стихи то по книге, то на память. И из стихов, если вдуматься, вытекала его правда, выходило, что о ее правде никто никогда не писал — ни Пушкин, ни Купала. Она полюбила Блока, втайне часто читала его, ей казалось, что в туманных, не очень понятных строках заключена ее правда.

*Как у тебя хорошо и светло —*
*Там за стеною темно...*
*Дай помолчим, постучимся в стекло,*
*Дай-ка — забьемся в окно!*

Но он, он любил и это. И понимал по-своему.

Нет, после такой перемены, какую увидела в нем, она уже и не намеревалась отговаривать его, упрекать, упрашивать. Хорошо знала, что все слова будут напрасны. Почему он вдруг за какие-то три часа вдруг стал такой?..

— Какой? — засмеялся он тогда на ее вопрос.

— Как... после причастия.

— Ольга, ты начиталась Блока, — и, обняв, горячо поцеловал в губы, еще раз доказав этим, как он обрадован, возбужден.

— Ты не хочешь мне ничего сказать?

— Что сказать?

— Где ты был? С кем встречался?

— Не думаешь ли ты, что я с девушкой встречался? Может, думаешь, с Леной?

— Нет, не думаю. От встреч с Леной ты не становился такой.

— Да какой? Я просто хорошо погулял. Люблю метель. И фашисты не испортили мне настроения. Попрятались

в норы от вьюги.

— Ты не доверяешь мне?

— Ольга, я ничего от тебя не таю.

— Поклянись.

— На чем? На Библии, которую ты читаешь? — насмешливо хмыкнул он.

Ольга обиделась, надулась.

...Обнимая подушку, сохранившую, казалось, его живое тепло, его запахи, Ольга проклинала себя за холодность свою. Как она могла обращаться так с ним, когда человек, возможно, готовился к смерти? Оттого и просветленный такой был, действительно как после причастия. Не могла уснуть всю ночь, светлую от искристого снега за окном, от луны, но черную, как яма, от ее мыслей. На рассвете, когда ребенок спал и Лена Боровская еще не могла уйти на работу в немецкую типографию, Ольга бросилась к подруге. Не любила она Лену, в ту ночь, думая о ней, почти ненавидела, но не забывала, что в тяжелую минуту ее всегда тянуло именно к Лене, лишь Лене она могла доверить не только сердечную тайну, но и жизнь — свою и того, кто стал дороже жизни.

Лена только проснулась. Наверно, от длительного голодания у нее припухло под глазами, и от этого она выглядела очень постаревшей, почти сорокалетней женщиной. Мать кормила ее холодной, с вечера сваренной в мундире картошкой, и картошка эта, казалось, застревала у Лены в горле. Ранний Ольгин приход испугал Лену, Ольга это сразу заметила, и у нее подкосились ноги: показалось, что Лена знает что-то страшное, потому и испугалась, увидев ее.

Разговор начала старая Боровская, попросила:

— Олечка, одолжила бы ты нам соли, а то не ест Лена без соли, совсем изголодалась, глупая. Чем только живет, не понимаю. Да ешь ты, доченька.

— Одолжу, тетя, сегодня же принесу.

— Разживемся — отдам.

— Когда это и на чем ты разживешься? — сурово спросила у матери Лена. — В кабалу к Леновичихе залезешь?

— Как же ты обо мне думаешь? — обиделась Ольга до слез; в другое время она бы в грязь втоптала Ленку за такие слова, а тут даже не разозлилась, просто очень обиделась.

Старуха сказала примирительно:

— Дружите, детки, не ссорьтесь. Теперь вся наша сила в дружбе.

Ольга спросила боязливо, шепотом:

— Где Саша, Лена?

— Саша? А что? — Лениной сонливости сразу как не бывало: прояснившиеся глаза смотрели вопросительно. Ольгу немного успокоило, что Лена так встрепенулась: значит, ничего не знает, просто, наверное, подумала, что-то случилось плохое, раз Ольга прибежала в такую рань, ведь еще и комендантский час не кончился.

— Вчера после обеда ушел... ничего не сказал...

Тогда успокоилась Лена, будто усмехнулась, или это пламя коптилки ярче вспыхнуло и осветило ее лицо; расслабленно поправила платок на плечах и заинтересованно, не так равнодушно, как до этого, стала выбирать картофелину. Упрекнула ворчливо:

— На сутки человек отлучился, а ты уже бегаешь по всему городу. Как же это ты его не привязала к юбке? Не привязывается, а? Скользкий, что ли? — теперь уже открыто издевалась Лена.

— Злая ты, Леночка, становишься, — упрекнула Лену мать, но тут же тяжело вздохнула. — Ты прости,

Олечка, работа у нее тяжелая, а харчи, видишь, какие... А Ольгу не упрекай, все мы, бабы, такие... Полюбила она его.

— Полюбила! Скажи — присвоила!

— Зараза ты, Ленка! — У Ольги задрожали губы. — Я к тебе с открытой душой...

Лена стремительно поднялась, отпихнув от себя очищенную картофелину, начала завязывать платок.

— Опять ничего не съела, — сокрушалась старая Боровская.

— Не обижайся, Ольга, — добродушно, примирительно сказала Лена. — Может, я от зависти так. Я и в хорошее время не смогла полюбить. А ты и сейчас можешь любить. Не горюй, вернется твой Саша, — сказала она так решительно, что Ольга поверила и успокоилась.

Но спокойствия этого хватило разве что на утро, пока растапливала печь, кормила Свету, убирала в доме, кстати, более старательно, чем обычно, будто ожидала гостя или готовилась к празднику.

Новую тревогу... нет, не тревогу, ужас принесла тетка Мариля, Светина нянька. Ольга еще вчера договорилась с ней, чтобы та поиграла с ребенком, чувствовала, что не выдержит, не усидит целый день дома, если Саша не вернется.

Хорошая эта старуха, добродушная, она знала, откуда, как появился у Леновичихи квартирант, как тяжело он болел, помогала его лечить и жалела беднягу. Но сейчас неизвестно, от доброты и жалости или от недостатка душевной чуткости тетка Мариля сказала Ольге:

— Людское радио, Олечка, передает, вся Комаровка толкует, что сегодня утром проклятые фрицы вновь повесили около Дома Красной Армии наших людей... партизанов, говорят... А кто они, один бог знает.

У Ольги вмиг все омертвело — руки, ноги, глаза, язык. Слова вымолвить не могла, не хватало сил. Стояла, белая как полотно, смотрела на Марилю... и не видела ее, видела, как в тумане, страшные фигуры повешенных и среди них его, Сашу...

А потом сердце будто сорвалось с места, с болью разорвалось в груди, и каждая частичка так же больно забилась, затрепетала в висках, в пальцах рук, во всем теле.

Ольга бросилась к старухе, схватила ее за плечи, встряхнула:

— Тетечка, скажи — он там?

— Да нет, любочка моя, нет. Никто не знает, никто не видел... Да и чего бы ему там быть? Что он сделал? Болел же. — Хотя Ольга ничего не сказала, кажется, и не пошевелилась даже, Мариля стала тут же отговаривать: — Олечка, не ходи туда... Не нужно тебе. Лучше я, старая, схожу. Было же уже так осенью, повесили троих на Червенском, а сестра пришла, узнала брата, заголосила, так они, гады, тут же схватили ее, хотя ни в чем она не виновата... А кто виноват?

Нет, не пойти Ольга не могла, как бы ни убеждала ее старая женщина. Почти убедила, что не может там быть ее любимого. Далее страх отхлынул, тот, первый, смертельный, и сердце точно вернулось на место. Но не могла она не посмотреть на повешенных! Не от страха, что о н там. И не из обывательского интереса, как могло быть прежде. Нет, теперь было что-то другое, как бы вступление в новую жизнь, желание встретиться лицом к лицу с той опасностью, которая будет подстерегать ее в этой новой жизни каждый день, каждый час. Видела смерть отца, раздавленного трамваем, тихую смерть матери в огороде, смерть людей под бомбежкой, смерть старого еврея, которому немец выстрелил в горло, трупы людей за лагерной проволокой. Как же умирают те, кто не хотел покориться чужеземцам, как не покорился он, ее Саша? Не так давно она еще надеялась, что победит ее правда,

что ласками своими и устроенностью быта она заставит его покориться не врагу — ей, одной ей, и заставит жить так, как живет она. Надежда поколебалась, когда Олесь застрелил немца. Теперь, когда парень неизвестно куда пропал, исчезла и всякая надежда. Нужно было готовиться к новой жизни. И все увидеть своими глазами.

Когда Ольга, одетая уже, целовала дочь, Мариля предупредила:

— Не забывай о Светке. С кем она останется?

Мысль о дочери вынуждала быть осторожной. И все равно по своим комаровским полупустынным улицам она почти бежала, задыхаясь от волнения. От сильного мороза, казалось, затвердел воздух, нельзя было ни вдохнуть, ни выдохнуть, колючими иглами кололо горло, легкие.

Но на Советской, несмотря на холод, народу было немало, и каждый второй — в зеленой, мышастой или черной шинели. Ольга пошла медленнее, хотя навряд ли нужна была такая осторожность — мороз подгонял всех, заставляя бежать. Немцы пританцовывали, постукивая замерзшими ногами, потирали уши и от этого казались веселыми, возбужденными.

Ольга обратила внимание на то, что все идут только по правому тротуару, левый был пустой. Сразу догадалась, почему. И снова стало жутко. А если он там! Не знала, как она поведет себя, не надеялась на себя, потому снова стала думать о дочери. Только Светка, маленькая веточка ее, может удержать от неразумного поступка. Но что разумное, а что неразумное? Еще совсем недавно Ольга хорошо знала это, во всяком случае, не сомневалась, что все, что делает она, Леновичиха, самое разумное. Он, Саша, все перепутал.

Поднималась вверх — от Пролетарской к скверу, — будто в страшном сне, в котором лезешь на гору по крутой и бесконечной лестнице, и у тебя уже нет сил, одеревенели руки и ноги, останавливается смертельно

утомленное сердце.

Не дойдя до кинотеатра, она увидела повешенных и, еще не различая фигуры, сердцем ощутила, что его нет среди шестерых... Сразу отхлынул страх, но тут же волна ненависти к палачам захватила ее, такой ненависти она еще не испытывала. Конечно, Ольга кляла немцев за то, что начали войну, уничтожают людей, но поскольку ей лично война пока что несчастья не принесла, то кляла почти машинально, лишь бы угодить Олесю и быть заодно с народом (все соседи, знакомые проклинали оккупантов), а не с полицаями, которые хвалили новую власть. Не боялась иногда и при знакомых полицаях «проехаться» по поводу их хозяев.

Когда же увидела повешенных, появилось совсем другое — во всяком случае только сейчас она поняла, что же такое Сашина ненависть, почему он так рвался мстить. В одеревеневшие руки, ноги вернулась сила, сжимались кулаки, она вновь ощутила себя решительной и смелой. Такая задорная отчаянность была у нее в первые дни войны, когда она под бомбами таскала награбленное добро, но теперь это было направлено совсем на другое.

Ольга пошла быстро, уверенно, потом остановилась напротив повешенных. Из гражданских никто около них не останавливался, люди боялись даже глянуть в ту сторону, смотрели только немцы и громко, с удовлетворением, обсуждали происшедшее.

Виселица была в углу сквера, около самой Советской улицы — на первых деревьях перекладины, прибитые к старым липам. Пять мужчин и одна женщина. Перед казнью с них сняли пиджаки, верхние сорочки, кофточку с женщины, все они были в нижнем белье, босые.

Сквер был в густом инее, потому деревья казались неестественно, театрально красивыми. С лип, на которых повесили подпольщиков, иней опал, и они стояли скорбно-черные на белом фоне, печально-живые.

Иней осыпал головы повешенных, осел на лицах, руках, ногах. Застывшие лица казались гипсовыми и были очень похожи. А Ольге захотелось глянуть в их лица вблизи, чтобы увидеть, какие они, запомнить, может, даже узнать кого-то. В памяти ее несчетное количество минчан, которым она когда-нибудь что-то продавала.

Она смело и решительно пошла через улицу на безлюдный тротуар около сквера. Остановилась за пять шагов от повешенных и внимательно вгляделась. Нет, они совсем разные, видно и под инеем, один почти ребенок, у другого, видимо после ареста, отросла короткая и густая борода, и у всех на лицах, шеях, груди виднелись кровоподтеки.

Ольга представила, как их пытали, и не ужаснулась, как ужасалась раньше, представляя, что могут пытать ее Олеся. Но ненависть охватила ее всю целиком, оглушая, туманя рассудок.

Неизвестно, что она сделала бы, если бы не полицаи. Один из них появился сразу же. Ольга не заметила, откуда он вышел. Увидела перед собой его морду с гадкой ухмылкой и от неожиданности и ненависти чуть не закричала, чуть не бросилась на этого выродка, который способен так отвратительно ухмыляться тут, около покойников. «Уважай хоть смерть, паскуда!» — чуть не вырвалось у нее.

— Ну, кто тут висит? — оскалился полицай. — Брат? Муж? Сосед? Знакомый?

— Никто. Просто люди.

— Люди! Бандиты! А кто или никто, это мы проверим. Федя!

По пустому тротуару медленно шел другой «бобик». Ольга узнала его — знакомый, Друтька, ведро водки у нее выпил. Полицай тоже узнал ее, удивился:

— Ольга? Кой черт принес тебя?

— А разве нельзя посмотреть?

— Нашла театр! — Друтька обернулся к своему коллеге, разъясняя: — Это наша, Леновичиха с Комаровки. Слышал? Чертова баба! Пошла вон отсюда, пока СД не увидали! Дурная! Ветер у тебя в голове.

Взял ее за рукав и повел назад через улицу, на тот тротуар, по которому шли люди.

— За что их? — спросила Ольга.

— Склад с горючим взорвали.

— Ого! Смелые.

— Чокнутые, а не смелые! — разозлился Друтька. — Лезут с голыми руками на такую силищу! Все будут вот так висеть! Всех перевешаем!

— Ты их вешал?

— Нет. Немцы нам не доверяют.

— А если б доверили, повесил бы?

Друтька злобно выругался.

— Пошла ты! Принесла бы лучше чекушку, вся утроба замерзла, два часа дежурю. — И, испуганно оглянувшись — навстречу прошли три немца, — шепотом спросил: — Думаешь, они бы меня не повесили, сталинцы эти, комсомольцы?

— Они? — Ольга на минуту задумалась.

Но Друтька, как бы испугавшись ее ответа, легонько толкнул Ольгу в плечо, а сам быстро зашагал назад, на свой страшный пост.

Ольга вдруг почувствовала, что ее шатает, как пьяную.

А потом была еще одна мучительная ночь. Какие только ужасы не лезли в голову! Заснула на минуту — приснились повешенные. Самое кошмарное в этом сне: вместо полицая в охране около казненных стоял он, Олесь, в одном нижнем белье, она видела, как он

замерзает, как живое тело его превращается в белый холодный гипс, но не могла сдвинуться с места, чтобы спасти, потому что рядом стоял Друтька и шептал на ухо: «Пойдешь — будет смерть твоей дочери».

На третий день, измученная неизвестностью, надумала попросить того же Друтьку, чтобы он навел справки, нет ли ее двоюродного брата среди арестованных, немцы ведь хватают людей без разбора, на улице, на рынке, могут посадить невиновного. Но, зная, к чему стремился Олесь и что сделал уже, удержалась от такого намерения: лучше «бобикам» не знать, что она боится за парня, а то подумают, что есть причина бояться, и начнут вынюхивать, как собаки. Лучше не вызывать подозрений.

И снова мучилась в одиночестве. Знала, что на рынке, за прилавком, торгуясь, ей было бы легче ждать его. Но именно потому, что ждала очень нетерпеливо, веря в его возвращение, не могла отлучиться из дому даже на короткое время. Не хотела, чтобы после всего, что он переживет за эти дни, — не в тепле сидит, не блинцы ест у другой молодицы! — его встретила старая Мариля, а не сама она.

В полдень горячее отчаяние, рой мыслей, стремительных, противоречивых, невероятных, желание действовать, искать, сменилось холодным отчаянием, когда наступает душевное одеревенение, почти полная бездумность. Светка чувствовала материнское настроение и начала капризничать, плакать. Ольга отшлепала ее и сама испугалась своей злости, заголосила по-бабьи, как голосят по покойнику. Малышка так поразилась этому, что перестала плакать и стала по-своему, по-детски утешать мать, отчего Ольга расстроилась еще больше,

В таком состоянии ее застал неожиданный гость — тот Евсей, у которого она купила кожушок и который забирал приемник. Появление его сначала удивило и испугало. Когда он вошел, Ольга минуту смотрела на него как на привидение. Кожушка, который она ему вернула, на нем не было, молодецкие усы сбриты,

длинное старое пальто, клетчатое, — такие появились из Польши, когда освобождали Западную Белоруссию, — польская шапка с козырьком сильно изменили Евсея. Но Ольга узнала его сразу. А он будто и не заметил, что хозяйка не в настроении, что у нее заплаканные глаза. А может, правда, с улицы, где был сильный мороз и на солнце искрился, слепил снег, человек какое-то время плохо видел, иней на бровях и веках, тающий в тепле, мог затуманить глаза. Евсей весело спросил:

— Не узнаешь, красавица?

— Разве такого гжечного пана можно не узнать?

Сама удивилась, почему ее вдруг потянуло на игривый тон, — наверное, такой это уж был человек, что иначе с ним говорить невозможно.

Евсей хохотнул не особенно весело:

— О, это уже почти комплимент! Однако мало я изменился, выходит?

Увидел в «зале» зеркальный шкаф, ступил к нему, чтобы посмотреться.

— Да нет, изменился очень, — успокоила Ольга, — но такого пана можно узнать всегда.

Теперь он засмеялся весело.

— Настоящие паны за такие комплименты целовали бы пани ручку.

— Так то же настоящие!

— Да, я пан не настоящий. Знаешь, почему я пришел? За обещанными драниками. Все время с того дня чувствовал их запах, драников твоих.

Ольга обрадовалась, что человек так искренне и просто попросил есть. Но еще больше обрадовало то, что он намерен задержаться надолго, с ним можно поговорить, у него, как и у Лены, можно спросить об Олесе.

Как бы испугавшись, что он передумает, бросилась на кухню, начала чистить картошку. Настроение у нее переменилось, снова она была той Леновичихой, проворность которой удивляла и восхищала всю Комаровку.

Малышка почувствовала перемену в материнском настроении и тоже повеселела, играла с картошкой и без конца лопотала на своем детском языке, будто просила прощения за недавние капризы.

Ольга выглянула из кухни — как гость? И застыла, пораженная. Весельчак, балагур сидел на диване, понурив голову, в позе смертельно уставшего человека; глубокая печаль и душевная боль застыли на его лице. Даже не заметил, как хозяйка подглядывает за ним из-за плюшевой портьеры. А Ольгу снова оглушил страх. «Может, пришел, чтобы сказать... Нет! Нет!» — ни сердцем, ни разумом не могла она поверить в е г о смерть.

Гость услышал, как она трет картошку, вышел на кухню, удивился:

— Ты действительно готовишь драники? Я пошутил. Нет у меня времени. Хотя съесть что-то надо. Силы нужны.

— Это быстро. На примусе.

— У тебя есть керосин?

— У меня все есть, — похвалилась Ольга.

— Ого! — Он снова засмеялся, будто жених, который, придя свататься, узнал, что невеста значительно богаче, чем он предполагал.

Сел на низкий табуретик и начал из картофелины вырезать малышке смешного человечка. Когда же на сковородке зашипели на свином сале первые драники и поплыл аппетитный запах, гость виновато признался:

— Пойду посижу на диване, а то боюсь, упаду, голова кружится, со вчерашнего дня ничего не ел.

— О боже мой! — ужаснулась Ольга. — Какая же я глупая! Садитесь за стол сразу, и я в один миг все подам. Водки выпьете?

— Нет, нельзя мне.

Он ел много, но не жадно, не спеша, как бы стыдился или остерегался, не запихивал целый драник в рот, откусывал по маленькому кусочку и не глотал, ждал, пока пахучая мякоть растворится во рту.

Ольге нравилось, как он ест, уважение к еде нравилось. Она стояла у кухонной двери и смотрела на него.

— Никогда не ел ничего вкуснее, — похвалил он драники.

Хвалили ее за хозяйственность, проворство и умение часто, но похвала этого гостя была особенно приятна.

— Ешьте на здоровье, Евсей... не знаю, как вас по отчеству. — Ольга неожиданно для себя перешла на «вы». После его признания, что он два дня ничего не ел, увидев, как интеллигентно он ест, Ольга отбросила игривый тон, в голосе появились серьезность, уважение.

— Сегодня мое имя Виктор Андреевич, — сообщил он с таинственной улыбкой. — Виктор Андреевич Леденев. Вы давно меня знаете. Понятно?

Теперь Ольга почувствовала к гостю еще большее уважение, но одновременно появилась и какая-то иная, чем вначале, боязнь.

— Да, я понимаю.

— Садись, посиди со мной, — показал он на стул около стола.

— Так драники же пекутся.

В кухне шумел примус, шкворчала вторая сковорода оладий.

— Не неси больше, а то объемся.

Но Ольга принесла сковородку, вывернула драники в тарелку, залила сверху жиром.

— Ешьте!

Кажется, ему не понравилась ее серьезность, он попробовал возобновить прежний тон:

— Пани не представляет, какое испытание дает моему бедному желудку! Очень уж холодно на дворе.

Ольга промолчала. Отнесла на кухню сковородку, вернулась и села на стул.

Вблизи внимательно всмотрелась в его лицо, увидела, что человек не так молод, как показалось при первой встрече на рынке, или, может, за два месяца так постарел; кажется, тогда не было таких глубоких борозд под глазами и у губ.

— Не смотри на меня, — снова шутливо попросил Виктор Андреевич. — Я никогда не появлялся перед красивыми женщинами в таком виде — небритым.

Ольга помолчала, потом сказала:

— Я хочу понять, что вы за люди.

— Кто?

— Вы... Саша... мой.

— Люди как люди. Советские люди.

— А я, выходит, не советская?

— Почему же? И ты советская.

— Где Саша? — неожиданно спросила Ольга.

— Почему ты считаешь, что я должен знать, где твой Саша?

— Ты знаешь! Ты все знаешь!

Гость проглотил драник, положил вилку, откинулся на спинку стула, повернулся в ее сторону и тоже в упор посмотрел в ее широко раскрытые глаза — голубые озера. Тихо спросил:

— Любишь?

— А что, разве нельзя? — Неожиданный вопрос неприятно задел Ольгу, и она готова была дать дерзкую отповедь, по-своему, по-базарному, если он вдруг скажет что-то плохое об их любви.

Но он сказал мягко, ласково, даже глаза блеснули влагой:

— Да нет, наоборот. В этом, видимо, наша сила, что мы, ненавидя... врага ненавидя, можем любить. — Задумчиво помолчал, оглянулся и сообщил шепотом: — Живой твой Саша. Но стоит ли ему возвращаться сюда, об этом нужно подумать. — И странно посмотрел на Светку, которая топала около стола, качая котенка и по-своему разговаривая с ним.

У Ольги екнуло сердце. Вот оно как может случиться! Не смерть, а люди, человек, который казался таким добрым, разлучит их. И это, наверное, будет навсегда. Да какое он имеет право?! Никому она не отдаст того, кого спасла от смерти, кого полюбила! Он принадлежит ей, только ей! — кричало сердце. Но тут же снова сжалось от знакомого страха, того страха, в котором жила последние дни, от которого чуть не потеряла сознание, услышав о повешенных.

Насторожилась, примолкла. Ждала, что он, Виктор... Евсей или как его... начнет советоваться с ней, думать вместе, возвращаться Саше домой или нет. Что ответить ему?

Три дня назад она, наверное, по-бабьи бросилась бы в бой: «Мое! Не отдам!» Но теперь понимала нелепость этого. Как она может отдать или не отдать Сашу, когда

он уже там, у них, у этих загадочных для нее людей? Вернуть его теперь можно только любовью.

Ольга ждала, как приговора, слов человека, имевшего власть над Сашиной жизнью. А он молчал, как показалось Ольге, бесконечно долго, хотя в действительности это длилось едва ли минуту. Ольга не поняла, почему он раздумывает в нерешительности. Причиной его колебаний была Светка. Ради безопасности ребенка Гопонюку не стоило возвращаться в этот дом. Но стоит ли в таком случае вовлекать в борьбу его мать? Не по этой ли причине не поручился за нее Олесь? Не мог он не верить женщине, которая так любит его. Нет, лишиться такой связной непростительно. Ольга идеальная связная, и это не так уж опасно, она умная и хитрая, водит дружбу с полицаями. Есть риск? Есть, безусловно. Но разве мало женщин, которые, имея детей, идут на фронт, в партизаны? Нельзя ему, руководителю, думать об одном ребенке и забывать хотя бы на миг о тысячах других детей, о целях страшной, но священной войны.

Андрей оторвался от спинки стула, отодвинул тарелку, облокотился на стол, наклонился к Ольге, точно близорукий, чтобы вглядеться в ее глаза.

— Не думай, что я пришел драники есть. Большая это роскошь для меня сегодня. За драники спасибо. Пообедал по-царски. Но пришел я по делу. Не пугайся. Настороженные какие-то у тебя глаза. Кроме войны, ничего более страшного не случилось. Мы знаем, вы смелая женщина, отчаянно смелая. Помогите нам, Ольга Михайловна!

Ольге польстило, что он так думает о ней и что заговорил так серьезно, даже на «вы», но она сразу догадалась, о чем пойдет разговор, и страх с новой силой ударил в сердце. Пусть бы этот разговор состоялся до того, как она увидела окостенелых покойников на виселице! А то выбрал время...

— Связь между нашими людьми. Только связь. Внутри города. Изредка за городом. Вы же везде ходите, вас

знают. Вам просто. Кому-то что-то передать, кого-то предупредить и этим, может быть, спасти...

Ольга слышала слова, как через вату. Звенело в ушах. Она медленно подняла руки и зажала ладонями уши.

«Неужели не хочет даже слушать?» — разочарованно подумал Андрей, замолчав на полуслове.

Но Ольга не запротестовала решительно, она как бы начала просить пощады:

— Боже мой! Что вы со мной делаете? Сначала он, а потом вы... Куда вы меня тянете? На виселицу? У меня ребенок... Ребенок у меня! С кем же он останется? Я сегодня ходила туда... К скверу. Я их видела... Сходите посмотрите... Может, хотя бы это остудит ваши горячие головы.

— Я был там, когда их вешали. Это мои товарищи, — сурово и печально сказал Андрей.

Ольга осеклась. Опустила руки. Смотрела на него широко раскрытыми глазами. Спросила шепотом, как говорят, когда покойник в доме:

— Вы их знали?

— Один из них сын моей сестры. — Глаза его наполнились слезами.

Слезы веселого, сильного человека, недавно шутившего с ней, так поразили ее, что Ольга едва сдержалась, чтобы не зарыдать. Не смогла вымолвить ни слова, а если бы и могла, не знала, что сказать в таком случае. Когда-то, когда умерла мать, ей высказывали соболезнования, но от слов становилось тяжелее, с того времени она считала, что лучше в таких случаях молчать. Но что-то она должна ответить этому человеку?

Помолчав, не зная, как решить, что сказать, спросила осторожно, несмело, неуверенно:

— А вернете Сашу?

Андрей вытер пальцами глаза и сказал, почти сердито :

— Нет, не верну я тебе Сашу.

Потом добавил помягче:

— Но пойми: так нужно. Для дела. Для твоей же безопасности.

Ольга возмутилась:

— Так пошли вы к черту, такие добродеи!

Андрей быстро поднялся, взял со стула пальто, протянул ей руку, задержал ее холодные пальцы в горячей ладони, грустно улыбнулся.

— Не нужно ругаться. Не идет это такой женщине. Спасибо. И простите. Но... подумайте... Ольга Михайловна!

По тихому, свойскому стуку в раму Ольга узнала его и... задохнулась от радости, даже сердце, кажется, остановилось. Но особенно поразило, что и Света узнала, кто стучит, и закричала радостно, показывая, что нужно быстрее открыть. Ольга бросилась к двери с ребенком на руках, потом, вспомнив, что малышка не одета, вернулась и посадила ее на диван.

Выскочила в сени в легкой кофточке и минуту постояла перед дверьми, послушала, как там, на крыльце, под его ногами скрипит застылый на морозе пол, скрипит не потому, что он топает от холода, — нет, он стоит неподвижно, держится за ручку, но полу передается его нетерпение, его волнение.

Ольга сбросила со скоб два тяжелых крючка. Хотела рывком открыть дверь и броситься ему на шею. Но в последний момент женская гордость сдержала ее. Бросилась в дом, потому что услышала, как Светка босиком притопала к двери. Может, именно потому, что она, не встретив его, бросилась в дом, он вошел не

сразу. Это мгновение Ольга стояла, прижимая к себе ребенка, помертвев от мысли, что, обиженный, он может повернуться и уйти обратно в темноту, в опасность, уйти навсегда.

Но Олесь вошел, бесшумно закрыв в сенях двери. Он виновато улыбнулся и натянуто поздоровался:

— А вот и я. Добрый вечер.

Ольга не ответила, и он подошел к малышке:

— Добрый вечер, Светик!

Та весело закричала:

— Тыта, тыта! — и протянула ручки.

Олесь приблизился и поцеловал ее кулачки. Один и другой.

У Ольги брызнули слезы, сдерживая себя, не ребенка, она сказала дрожащим голосом:

— Не иди к нему, он чужой.

Олесь на минуту растерялся, а потом наклонился так близко, что в полутьме — лампа висела далеко над столом — Ольга увидела, что у него отросла борода, а глаза горят, как у больного.

— Не надо так, Оля. Не надо, — шепотом попросил он. — Я не чужой. Если бы ты знала, что я сделал за эти дни, то не сказала бы так. Я не чужой... Я... я люблю тебя, Оля. И Светку...

Тогда, с малышкой на правой руке, Ольга обняла его левой. Светка засмеялась и обняла его за шею обеими ручками. Эта детская радость растрогала так, что Ольга не удержалась и зарыдала, уткнувшись лицом в его плечо, в холодное пальто, от которого пахло угольным шлаком, чем-то горелым, будто Олесь тушил пожар.

— Я измучилась, Саша... Я измучилась...

— Ну, успокойся, пожалуйста. Видишь, я живой, здоровый. Более того... Я ожил. О, если бы ты знала, как я ожил! Я почувствовал себя человеком, бойцом!

— Никогда не думала, что это так тяжело — ждать тебя.

— Я знал, что ты ждешь. И мне было легче. Спасибо тебе.

Девочке, наверное, показалось, что он обидел маму, и она с детской непосредственностью и быстротой сменила радость на гнев и ударила его ладошкой по щеке.

— Ты что это, задира? Что тебе не понравилось? — засмеялся Олесь.

А Ольга оторвалась от него и начала осыпать детскую головку поцелуями.

— Глупенькая ты моя! О, какая ты глупенькая еще! Ничего ты не понимаешь! Боже мой! А что я сама понимаю? Чего я реву? Как телка. Кто когда видел, чтобы Леновичиха так плакала? Чего ты стоишь, как в гостях? Раздевайся.

Она отнесла Светку на диван, усадила там, прикрикнула будто сурово:

— Не слазь на пол, Авсючиха! Непоседа! Бить буду!

— Ва-ва-ва! — передразнила ее Света.

Это рассмешило Олеся и тоже растрогало до слез, сильнее, чем ласки ребенка. Никогда он не стыдился слез радости, умиления, гордости, а теперь сконфузился: не хватало и ему еще разрыдаться вслед за Ольгой.

Олесь захотел помыть руки, лицо, и Ольга поставила греться на примусе воду, ей казалось, что он должен смыть не просто грязь — доказательства своей опасной деятельности, которая и страшила ее, и восхищала. Страха она пережила достаточно, а восхищение такое

было чувством новым, необычным, горько-сладким, оно освобождало ее из паутины страха и возвышало, приобщало к чему-то высокому, таинственному, как мир сказок, которым верила в детстве, как первое причастие в церкви, куда ее, маленькую, водила мать. Вновь увидев Олеся, она поверила в существование бога, казалось, больше, чем верила раньше.

Ольга достала из своих запасов кусок мыла, довоенного, туалетного. Олесь сбросил рубашку, чтобы помыться, и у нее по-матерински сжалось сердце: какой худой! Но в то же время восхищение им росло, и от этого становилось все более радостно и по-новому тревожно.

Она лила ему на руки, а он плескал воду на лицо, шею, худые плечи и весело фыркал. Совсем мирная картина, идиллия: так жена поливает мужу, когда тот возвращается с работы.

Но не об этом она думала и другое сказала:

— Мне кажется, ты вернулся после очень далекой дороги.

Он застыл, наклонившись над тазиком, с волос его, отросших после лагеря, стекала вода.

— Думай, что я собираюсь в дорогу.

— Куда? — испуганно, как птица, встрепенулась она.

— На очередное задание. А это очень далекая дорога.

И снова захлестнул ее прежний страх. Но она отогнала его и порадовалась своей победе.

А потом она кормила его ужином, выставила на стол все лучшее. Олеся конфузила ее радость. Так богато, празднично встречать будут разве что фронтовиков, когда они вернутся с победой, думал он. Но до победы далеко. Теперь, вступив в активную борьбу, он это почувствовал в большей мере, чем даже в лагере: при полной безнадежности своего положения там у него, романтика, еще жила вера в чудеса.

Знал, что Ольгу обидит решение, принятое не им — командиром группы Андреем. Не очень понимал целесообразность своего перехода на другую квартиру, считал, что под этой крышей, под опекой не по годам хитрой, энергичной, любящей его женщины и сам он, и дело, порученное ему, будут находиться в большей безопасности, чем где бы то ни было. Но оспаривать решение командира не отважился. Выполнить же его совет — не возвращаться на старую квартиру— не мог, знал, как Ольга будет страдать от неизвестности, а у него не будет спокойно на душе при мысли, что из-за него мучается близкий человек.

Шел с решительным намерением поговорить, объясниться и не оставаться на ночь, чтобы не переживать самому и не растравлять ее душу, пойти на квартиру к незнакомым людям. У него был ночной пропуск на имя железнодорожного рабочего Ивана Ходкевича.

Своей радостью Ольга растопила его решительность. Не хватало духу при такой ее заботе и ласковости сообщить свое неблагодарное решение, сказать же ей, что у него такой приказ, нелепо: не поймет она, пошлет к черту всех командиров, ведь сердцу ее никто не может приказать.

Олесь был голоден, но ел нехотя, как больной, и Ольга забеспокоилась. Она сидела напротив, не сводила с него глаз и угощала, как дорогого гостя, предлагая одно кушанье за другим.

Разговор у них выходил странный, какой-то односторонний. Говорила Ольга, была слишком многословна, будто понимала, что у них мало времени, и спешила высказаться. Но он чувствовал, что говорит она не о том, о чем ей хочется сказать, спросить: о том, главном, о чем думают оба, она боится начать разговор, оттягивает так же, как оттягивает и он.

Она долго и очень подробно рассказывала, как вела себя Светка, про все ее хитрости и капризы и особенно о том, как она скучала, искала его, Олеся, по всем

углам дома и настойчиво допытывалась на своем понятном только матери языке, где он, когда вернется. О том, как тосковала, как волновалась сама, — ни слова. Рассказ о ребенке тронул Олеся, но он понимал его подтекст и вновь удивлялся — не в первый раз! — душевной чуткости и тонкости этой женщины, в других обстоятельствах грубой и крикливой. Она будто убаюкивала его, утомленного, отяжелевшего от ужина, рассказами о дочери и своих делах, о соседях, о тетке Мариле, которая почему-то начала глохнуть и, недослышав, часто отвечает невпопад, чем удивляет даже Светку.

Сказала, что была у Боровских, но не призналась, что искала его, будто заглянула так, между прочим. Тут Олесь понял, как осторожно она подступает к тому главному, о чем им предстояло говорить, и стал вслушиваться более внимательно.

— Ленка нервная, злая. Слова ей не скажи. Это от голодухи.

— Ты помогла бы им.

— Кому? Боровским? Они гордые. Да и у меня не база, не склад. Не нужно было им ворон ловить. Такие парни, как Андрей и Костя, могли — ого! — сколько добра натаскать, не то что я, одинокая баба. Не везде я осмеливалась лазить... Они свою совесть берегли, мне тоже было что беречь...

«Ну вот, опять ее занесло в Комаровское болото», — разочарованно подумал Олесь. Вот так у нее часто: вместе с душевностью алчность, торгашеский расчет. Но не возразил ей. Пусть бы она начала ругать всех их, подпольщиков, тогда бы ему было легче сказать о своем решении — на командира ссылаться нечего — и уйти. Как это, однако, тяжело — уйти от нее!

Дав полный отчет обо всем, что случилось в доме, пока он отсутствовал, и не дождавшись от него такой же искренней исповеди, Ольга спросила таинственным шепотом:

— А ты... ты что делал?

— Не нужно говорить о моих делах, Оля. Так будет лучше. Для тебя. Зачем тебе знать? Так будет спокойней... мне... всем нам...

— Я бегала смотреть на повешенных в сквере.

Он осекся. Так вот чем она жила эти дни! Одной фразой выдала все, что пережила. А он убеждает, что ей лучше ничего не знать... Как она мучилась, бедная, от этого незнания!

— Мы... отомстили за наших товарищей.

— Ты убивал?

— Не я один. Мы взорвали эшелон... Но ты... ты ничего не слышала!

— Я ничего не слышала, — покорно согласилась Ольга, и, сжавшись, будто ей вдруг стало холодно, спрятала руки под кофточку.

Олесь понял: свое главное она сказала. Теперь нужно сказать ему. Но после услышанного еще тяжелее сообщить, что ему необходимо уйти от нее сейчас же. Немедленно.

Закапризничала малышка, захотела спать. Ольга пошла укладывать ее.

Олесь остался один за столом, с тревогой думая, что никак не может решиться выполнить распоряжение. Начал убеждать себя, что это задание, приказ и он обязан выполнить его!

Света не засыпала, звала его:

— Ты-та! Ты-та!

Странно, почему она так зовет его? Что это значит на ее языке? «Папа» или «дядя»?

Он не шел и не отзывался.

Тогда позвала Ольга:

— Она не засыпает без тебя. Так каждый вечер. Иди покачай.

Они сидели на кровати в полутьме, свет падал в открытую дверь спаленки, и оба держались за качалку, руки их соприкасались; в плетеной качалке, казалось, звенела каждая пересохшая лозинка, словно далекая жалейка.

Успокоенная его присутствием, девочка пропела себе «Котика» и скоро уснула.

Тогда Ольга стремительно обняла его, горячо зашептала:

— Саша, миленький, родненький! Не оставляй меня! Я боюсь одна. Я не могу без тебя. Я не буду мешать тебе. Я их тоже ненавижу. Хочешь, буду помогать тебе? Во всем буду помогать, я смелая, ты знаешь, я ничего не боюсь. Нужно будет умереть — я умру за тебя... вместе с тобой... как хочешь. Не уходи, Саша, нареченный мой. Богом нареченный...

Она плакала.

Олесь никогда не видел таких безутешных слез, не слышал такого отчаянного плача и не думал, что она может быть столь растерянной, беспомощной. Пораженный, растроганный, обрадованный и испуганный тем, что теперь будет еще тяжелее оставить этот дом, он гладил ее по голове, как маленькую, и целовал мокрые, соленые глаза, горячие губы.

Олесь проснулся от тревожного сновидения. Фашисты вешали детей. И самое жуткое было не в самом злодействе, а в том, что дети не понимали, что происходит, принимали это за игру и весело смеялись, показывая пальчиком на тех, кого уже повесили. А вокруг стояли взрослые, целая толпа, тесной стеной, неподвижно, в безмолвии; он хотел пробиться через

толпу, но не мог, хотел закричать, но у него пропал голос. Все вокруг застыло, онемело, оглохло, только слышно было, как смеются дети.

Обливаясь холодным потом, не сразу сообразил, что проснулся. Вокруг темнота. Шумело в ушах — так колотилось сердце.

Потом он почувствовал Ольгино дыхание, она лежала рядом. По тому, как тихо она дышит, понял, что не спит, может, так и не уснула всю ночь. Легонько дотронулся до ее руки. Она прошептала:

— Спи. Рано еще.

Олесю стало стыдно за свою вчерашнюю слабость. Не нужно было оставаться на ночь, это лишь попытка обмануть самого себя и ее, она, наверное, думает, что уговорила его, покорила. Нет, уговорить его нельзя. У него приказ, и теперь, он уже твердо убежден, что это правильный приказ, таков закон конспирации. Нельзя больше оттягивать разговор. Кстати, теперь, утром, все выглядит значительно проще. И он спокойно сказал:

— На рассвете я пойду, Ольга. Пойми. Так нужно. Ради Светиной безопасности. И ради дела. Но я буду в Минске. Рядом. Мы будем встречаться.

Боялся, что она снова заплачет, снова начнет просить, — женских слез он боялся. Ольга молчала. Долго. Потом нашла его руку и сжала пальцы. Олесь думал, как проститься так, чтобы не раскиснуть самому, не расстроить ее. Чтобы без слез. Но Ольга опять удивила его. Сказала как о чем-то обыденном:

— Передай Командиру, что я согласна на его предложение.

## IX

Первое поручение Ольге дал сам Командир. Как-то само собой получилось, что она стала звать человека, имевшего столько имен, почтительно и высоко —

Командир.

Она ждала с нетерпением, когда и кто к ней обратится. Боялась, что совсем не обратятся. Командир мог обидеться, да и Олесь, неизвестно, сообщил ли о ее согласии, сказал же, что оставляет дом ради ее и Светиной безопасности. А ей с каждым днем все сильнее хотелось быть им нужной. И уже не только потому, что это вселяло надежду встречаться с Олесем, но и по какой-то другой причине, не личной, по велению иного чувства, которое она еще не совсем осмыслила.

На продовольственный рынок Ольга теперь выходила редко. Продукты дорожали, горожане почти не выносили их, а крестьяне приезжать боялись. У нее были запасы, и она мудро рассудила, что все, что может полежать, не испортится, лучше сохранить подольше. Однако картошку и свеклу дольше весны держать не будешь. Конечно, можно продать и весной, цена наверняка возрастет, ведь тогда людям нужно будет и есть, и сажать ее, картошку. Но без привычного занятия ей становилось скучно, особенно теперь. В конце концов, это была ее стихия, ее выход в свет, ее общественная деятельность — все что угодно. Ее подмывало появляться на рынке хотя бы раз в неделю, очутиться в центре внимания торговок, покупателей, полицейских, покричать, пошуметь, поторговаться, послушать городские новости.

В тот день она торговала сваренной в мундире картошкой и свеклой. Долгие и суровые рождественские морозы наконец отступили, природа будто смилостивилась. Была оттепель, сыпал снег, очертания домов и людей в нем расплывались, затуманивались. Но Ольга Командира узнала издалека, как только он вышел из-за бывшего мясного павильона, превращенного сейчас в отхожее место, потому что от бомбы, упавшей в начале войны, часть стены обрушилась.

У Ольги тревожно и радостно забилось сердце. Не прошел бы мимо! Сдвинула со лба теплый платок,

открыла лицо, подняла голову, подставив горячке щеки снежинкам. Теперь он не мог не узнать ее. Но понимала: если он пройдет мимо, то и ей нужно молчать, не показывать, что знает его. Ее почти обрадовало, что он опять в том же кожушке, вызвавшем когда-то ее зависть. Но кожушок еще больше утратил свою элегантность, загрязнился, да и у Командира был совсем не тот вид. Лицо изможденное, худое. Только глаза глядят по-прежнему весело, даже как-то по-мальчишески озорно, не пропускают ни одного встречного, осматривают и молодых женщин, и немецких солдат, и старую нищенку, протягивающую руку. Нищенке он что-то дал, потом поговорил с полицейским, как с хорошим знакомым. Наблюдая их разговор, Ольга подумала, что к ней он не подойдет, и... волновалась так, будто от того, подойдет ли он, зависит вся ее жизнь.

Забыла обо всех предосторожностях, следила только за ним. Засияла, как невеста, когда он приблизился и просто сказал:

— Привет, красавица. Угостишь горячими драниками?

Ольга засмеялась громко, на всю рыночную площадь.

— Опоздал ты, нет больше драников. Теперь их с руками оторвали бы. Картошка теплая в мундире. Хочешь?

— А соль есть?

— Для такого пана найду щепотку. Соль теперь как сало.

Ольга наклонилась над саночками, на которых стоял большой чугун, завернутый в старый ватник. Командир присел, будто хотел посмотреть, откуда она достает картошку, и под прилавком тихо сказал:

— Поклон от Саши.

Ольга встрепенулась, но не выпрямилась, продолжала доставать картошку со дна, где она была теплее.

— Как он?

— О, герой!

— Позволь нам встретиться.

— Я? — удивился он.

— А кто же?

Он понял, что Ольга представляет себе их организацию по типу военной, где без разрешения командира подпольщик не имеет права даже встретиться с близкими, а его она явно считает командиром. Ему, бывшему политработнику, польстило, что простая женщина, пока еще далекая от их дел, так думает о подпольной работе. Так сначала считал и он, и некоторые его товарищи. Но в этом была их ошибка. Он, горячая голова, к тому времени уже остыл и многое понял только после волны декабрьско-январских арестов. Широко размахнулись руководители первого минского подполья, много втягивали людей неподготовленных, нереальную задачу ставили — поднять лагеря военнопленных на восстание и освободить Минск. Старый коммунист, подпольщик времен гражданской войны, Павел Осипович называл это авантюрой, но руководители военного совета не пожелали даже встретиться с ним, хотя он, Андрей, старался связать их. Теперь он признает, что именно конспиративный опыт шурина помог спастись не только ему лично, но и сберечь от провала большинство членов группы. Провалы научили осторожности. И все равно рисковать приходилось ежедневно. Доверять людям — тоже риск, но и без доверия нельзя в борьбе.

Ольге он поверил в тот день, когда забирал приемник. Возмущался, что человек, спасенный ею, не проявил в свое время нужного доверия к ней. Ее отказ поначалу не поколебал его уверенности, наоборот, он понимал, как нелегко такой женщине встать на путь сознательной борьбы. Стихийно она могла совершить любой, самый отчаянный поступок, а сознательно-пойти на подвиг — едва ли. Порадовался не за нее — за Олеся,

когда тот с радостным волнением сообщил о ее согласии. Однако высказал опасение Павел, поэтому-то он две долгие недели не мог придумать новой связной задание. Но сегодня не обойтись без этой проворной женщины, она меньше чем кто бы то ни было вызовет подозрение.

Утром, возвращаясь с «ночной работы», он увидел, что военная жандармерия оцепило весь квартал, где-был его дом. Лезть к ним в лапы, даже имея настоящие документы, было бы безумием. Но что случилось? Что с Яниной? Теперь, днем, на улицах оцепления не видно, мальчишки проверяли. Но нет ли засады в доме?

Ольга достала из-за пазухи носовой платочек, в узелке которого была щепотка соли. Соль она брала не для покупателей — полицейским, «бобики», даже если выпивали и закусывали у кого-то другого, за солью все равно шли к ней.

Командир разломил картофелину и очень скупо посолил, ел с кожурой, чем удивил Ольгу: неужели такой голодный? Съев три картофелины, достал кошелек и принялся старательно подсчитывать деньги.

— Хватит ли у меня расплатиться с тобой?

Ольга понимала, что отказываться от денег нельзя, но сказала:

— Такому пану я отпущу в долг.

Увидела, что даже это ему не понравилось, но он подыграл:

— О, пани добрая! Но она может ошибиться — я тут редкий гость. Да и вообще забываю отдавать долги.

Отдавая деньги, сказал адрес. А потом, уловив момент, когда соседка отвернулась, полез сам в чугун, чтобы за свои деньги выбрать лучшие картофелины, и так, склонившись, сказал приглушенно:

— Твой пароль: «Говорят, у вас продается оренбургский

платок?» Ответ: «Белый продала, а серый есть». Имя женщины — Янина Осиповна. Это моя жена. Если ее нет там, сама понимаешь, что это значит. Выкручивайся, как умеешь.

— А что передать? Что спросить?

— Что Андрей ждет у Витька.

— Только и всего?

— Не жадничай! — засмеялся он.

Ольга будто разочаровалась, но на самом деле ее очень поразило, что человек не может пройти домой, к жене. Снова охватил страх: так может быть и с ней, что нельзя будет увидеть собственного ребенка. Но это длилось лишь одно мгновение. В следующий момент она с новым восхищением смотрела на Командира. Он выпрямился и снова вкусно ел неочищенную картофелину, даже мурлыкал, как кот, и глаза его смеялись, будто он только что надул самого Гитлера.

Дома Ольга сказала тетке Мариле:

— Если меня арестуют, отнесешь Светку к Казимиру.

Старухе не понравилось внезапное исчезновение «квартиранта», потому неожиданные Ольгины слова испугали. Она видела, что Ольга не находила места, когда Олесь ушел из дому, бегала смотреть повешенных, а потом вдруг после одной ночи успокоилась. Уже тогда тетка Мариля почувствовала какую-то таинственность. Еще более усилились подозрения, когда на ее не вполне искренние причитания, куда это исчез парень, Ольга как бы со злостью ответила:

— Может, бабу нашел другую. Разве нас теперь мало? Каждая хочет заманить хоть какие-нибудь штаны.

Но тетка Мариля хорошо знала, что не тот человек Олесь, чтобы просто так перейти к другой...

— За что это тебя арестуют? Что ты плетешь?

— За спекуляцию.

— За спекуляцию немцы не трогают.

— Ого, как еще трогают! Ты скажи: за что они не сажают, не стреляют?

С этим старая не могла не согласиться. Но все равно ей не нравилось, как Ольга собирается. С разными вещами ходила она на рынок, в деревни, но как-то не так выносила их из дому. А тут обвязала себя под платьем лучшим гарусным платком, положила за пазуху часы, золотое колечко. И узел навязала.

В действительности Ольга репетировала новую роль. Еще там, на рынке, простившись с Командиром, она подумала, что ей нужно как связной, — пароль подсказал: сделаться «надомницей». Не очень уважала тех, кто этим занимается, — ходит по домам и скупает вещи, чтобы потом в деревнях выгодно выменять их на продукты, такая торговля казалась ей цыганской, нечестной. Но теперь она могла помочь делу.

«Выкручивайся, как умеешь». Это она умеет!

Шла Ольга на свое первое боевое задание без страха. Сама удивлялась. Понимала: если Командир боится пойти домой и опасается ареста жены, значит, что-то случилось у них. Но, наверное, потому, что больше ничего не знала, и догадаться не могла, и человека, к которому шла, не знала, ничего не боялась. Верила в правдоподобность своей роли скупщицы одежды, для нее это в самом деле естественно, ей не нужно играть, притворяться. Полгорода подтвердит, кто она такая: продавала с детства, а раз продавала, значит, и покупала, и теперь покупает.

Одно только смущало: из ворот напротив нужного дома выезжали немецкие машины. Неужели она не расслышала адрес, напутала? Но вспомнила, на какой машине Командир приезжал за приемником.

Отчаянный он. Хотя чему удивляться — соседство такое не по его воле. Теперь многим они стали соседями, эти пришельцы. Каждый второй дом заняли.

Ольга пристально всматривалась, стараясь понять, что же помешало Командиру войти в дом. Ничего подозрительного не увидела. По улице ходят немцы. Но где они не ходят? Во дворе пусто. И в подъезде дома никого.

Поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж. И только перед дверьми ощутила, что волнуется. Да, не боится, а волнуется. Повторила про себя пароль. Не сразу отважилась постучать. Потом встрепенулась: нельзя долго стоять, вдруг за ней следит невидимый чужой глаз, вражеский глаз? Командир мог заметить этот глаз.

Решительно постучала. Открыли не спрашивая. Ольга обрадовалась и сконфузилась: женщина, стоявшая в коридоре, была ей знакома — до войны не раз покупала у нее зелень и запомнилась хорошо потому, что по мелочам не торговалась, не перебирала пучки редиски и лука, покупала как мужчина. Но еще больше поразило Ольгу, что Янина Осиповна беременна. Заметила это сразу — по пятнам на лице, по фигуре, по тому, как та держит руки. От неожиданности забыла даже о пароле. Да хозяйка пригласила без пароля, назвав ее по имени:

— Заходите, Ольга.

Пароль Ольга все же сказала. Янина Осиповна ответила как положено. Но тут же сняла с плеч серый пуховый платок, протянула Ольге, попросила:

— Вы ходите в села менять? Выменяйте мне чего-нибудь... сала, масла...

Ольга растерялась. Что это, дополнительная проверка, продолжение пароля или искренняя просьба? Очень просто понять, что женщине в таком положении нужны жиры. Но это просто там, где все легко, а здесь бог

знает, что к чему.

Собираясь сюда под видом скупщицы, она взяла с собой не только кое-что из одежды, но захватила и буханку хлеба, кусок сала, знала, что многие из этих спекулянтов, наживающихся на беде, на голоде, скупают вещи не за деньги — за продукты, но платят треть того, что потом выменивают в деревнях. Подумала и о другом, имея опыт: самогонкой, хлебом или салом легче всего откупиться от какого-нибудь нахального полицая, да и немцы не брезгуют, берут.

Постояв какое-то мгновение в раздумье, в нерешительности, Ольга взяла из рук хозяйки платок, аккуратно свернула и положила на стол, на чистенькую, хорошо выутюженную клетчатую скатерть. Потом развязала свой узелок и туда же, на стол, рядом с платком, положила хлеб и сало.

Глянула на хозяйку и... остолбенела: большие глаза с синевой вокруг, как у всех беременных, вдруг наполнились смертельным страхом, ужасом. Ольга смотрела на нее и не понимала, что же случилось за какой-то миг, пока она развязывала узел.

— Что с ним? — едва слышно прошептала Янина Осиповна внезапно пересохшими губами.

— С кем?

— С Андреем.

Так вот оно что! Боже мой! Какой стыд! Какая же она ворона! Сама же пережила такое совсем недавно и не сообразила, что нужно этой женщине в первую очередь, чего она ждет. Разве не видно было, что платок этот сунула, про обмен заговорила, чтобы скрыть волнение, оттянуть время, если она, Ольга, пришла с бедой? А она дуреха, начала хлеб выкладывать, как милостыню несчастной, как помощь на поминки...

— Андрей ждет у Витька.

Янина Осиповна схватила ее за руки;

— Кто? Кто сказал вам?

— Он сам.

— Вы видели его? Когда?

— Сегодня. На рынке. Недавно. Сколько это времени прошло? — глянула на будильник, тикавший на столе. — Часа два, не больше.

Янина Осиповна отступила, медленно вытянула из-под стола стул, осторожно, как при радикулите, села на него, пригласила Ольгу:

— Садитесь, пожалуйста.

Страх ей не удалось скрыть, а радость утаила: сразу стала спокойная, подчеркнуто вежливая, внимательная.

Ольга села напротив и просто объяснила:

— Я так поняла, что сам он не мог пойти домой, поэтому послал меня. Говорить долго у нас, знаете ли, не было возможности. Люди же кругом. Он съел несколько картофелин. Я соли ему дала.

— Спасибо, Ольга. Теперь я понимаю. На рассвете эти, — она кивнула на окно, из которого была видна военная часть, — подняли тревогу, оцепили весь район. Делали обыск в каждой квартире. Кого-то и что-то искали. Но не арестовывали. Во всяком случае, из нашего дома не взяли никого. По тому, как искали у меня, куда заглядывали, догадалась, что где-то близко вел передачу наш радист, и они его запеленговали. Но это моя догадка. Так и передайте Андрею. Пусть подождет, пока не проверим.

— А есть и такие... радисты? — шепотом, оглянувшись на окно, спросила Ольга.

Янина Осиповна едва заметно усмехнулась, и Ольга покраснела, поняв, что вопрос ее по-детски наивен. Хорошо же знала сама, что есть, немцы писали еще осенью, что поймали советских радистов, и на рынке о

них люди шептались. Но очень захотелось услышать или хотя бы догадаться из Янининого ответа, что радисты вместе с ними, в одной группе. Еще там, на рынке, появилось необычное для нее ощущение, что она приобщается к чему-то особенному, высокому, вступает на новую дорогу, неизвестную, опасную, притягательную своей неизвестностью. Но хотелось узнать все быстрее. Хотелось определенности. Радисты — это определенность и сила, это Красная Армия, а не какая-то местная самодеятельность вроде того, с чего начал Саша: взял тайком пистолет и застрелил немца; только чудо спасло его. Если бы к ней пришел радист и попросил помощи, то ему она, наверное, давно, даже в начале войны, согласилась бы помогать.

Янина Осиповна разглядывала ее так внимательно, что Ольге стало неловко, она опустила глаза.

Хозяйка сказала:

— Простите, я не предложила вам раздеться. Сегодня у меня тепло, я протопила после обыска. Они выстудили…

Ольга с удивлением и восхищением, хотя и с невольным упреком про себя, подумала, что эта интеллигентка не представляет себе иной жизни: пусть голодно, но все равно должно быть чисто и уютно, ишь ты, даже после обыска, после такой тревоги за мужа навела порядок. Но и она хороша: в своем замызганном пальто облокотилась на чистенькую — как можно без мыла так постирать? — скатерть.

Устыдившись, Ольга вскочила и готова была проститься: нечего сидеть, не в гости пришла. Но Янина Осиповна помогла ей снять пальто, отнесла в коридор, на вешалку. Ольга покорилась, хотя была недовольна собой и хозяйкой. Но что можно подумать о женщине, которая, нося ребенка, сознательно идет, может быть, на смерть? Плохо думать о ней невозможно. Муж у нее загадочный, у него Ольга спросила: «Что вы за люди?» Еще больше хотелось спросить у жены: «Что ты за человек? Объясни мне, я

хочу понять тебя, мне это нужно, может, тогда легче будет понимать собственные поступки, часто пугающие меня». Но не умеет она спрашивать такое, нет у нее нужных слов, особенных, высоких, таких, как умел говорить Олесь. Янина Осиповна сказала:

— А я помню вас.

— И я помню вас.

И обе засмеялись. Это как-то сразу сблизило их, упростило отношения. При следующем обращении Янина Осиповна сказала ей «ты»:

— Я угощу тебя чаем. Андрей знает, что я люблю чай, и купил у немцев пачку натурального, с маркой французской фирмы. Цейлонский.

Ольга не отказалась. Теперь ей хотелось подольше побыть с этой женщиной: может, действительно с ее помощью надеялась открыть что-то особенное в людях той же породы, что и Саша.

Пока Янина Осиповна подавала чай, — в немецком термосе, уже готовый, Ольга еще раз осмотрела комнату. Как все просто, небогато, ничего дорогого, ничего лишнего, но красиво! Впервые она по-женски позавидовала такому умению создавать вокруг себя красоту. И чашечки для чая особенные, будто сделанные по заказу, потому что подходили и к обоям на стенах, и к пледу, которым застлана кровать, и к льняной скатерти с васильковой каймой.

Налив чаю, Янина Осиповна сказала немного сконфуженно:

— Я съем немного сала. Мне так захотелось сала. Говорят, что это редко бывает, чтобы хотелось мясного, — так косвенно призналась, что беременна, — но это, видимо, тогда, когда оно есть. У меня сегодня будто праздник. Ты принесла мне радость. Я боялась за Андрея, хотя у него и надежные документы. Но он неосторожный. — И вдруг шепотом попросила: —

Остерегай их, Оля.

Ольга даже вздрогнула. Их! Кого их? Безусловно, она знает о Саше, Андрей рассказал. Захотелось поделиться своими чувствами к Саше так, как делятся только с самой близкой подругой. Но постеснялась, а может, даже побоялась. А вдруг Янина Осиповна спросит о муже? Ольгу давно смущало и удивляло отсутствие всякого чувства вины перед Адасем. Но и лучшей подруге сказать об этом стыдно, а тем более человеку, с которым впервые встретилась. Потому и про Олеся смолчала. Начала рассказывать о дочери. Рассказывала умиленно, с такими подробностями, которые умеет увидеть в ребенке только мать и которые могут заинтересовать только матерей.

Янина Осиповна слушала молча, очень внимательно, но, показалось Ольге, как бы настороженно или даже боязливо.

Ольге не терпелось сказать, что только за нее, за Светку свою, она боится. Но, уловив настороженность хозяйки, поняла, какой страх переживает та за будущего ребенка, поэтому сказала не совсем искреннюю правду, которую во все времена повторяют матери:

— Теперь единственная радость моя — дочь. Ради нее живу.

Янина Осиповна по-своему поняла этот разговор и насторожилась по иной причине — боялась, что Ольга закончит словами: какой это ужас, страх, какие муки — жить такой жизнью, имея ребенка. Высоко оценила Ольгину душевную деликатность и в знак благодарности призналась в самом заветном, как действительно очень близкому человеку:

— Мы с Андреем сознательно пошли на это, хотим, чтобы наша жизнь продолжалась в нем. Может, это жестоко по отношению к нему, но мы верим, что добрые люди не оставят ребенка, если мы погибнем. Только бы теперь сохранить его.

Это тронуло Ольгу чуть ли не до слез, перед ней точно приоткрылась душевная красота этих людей. И она снова, как когда-то у Командира, спросила... нет, даже не спросила, выдохнула:

— Удивляюсь я... Что вы за люди?

Но женщина ответила иначе, чем ее муж, гораздо проще и понятней:

— Мы такие же люди, как и ты, Оля. Не думай, что мы какие-то особенные, из другого теста... Нет. Мы такие же...

Чай действительно был очень вкусный, несмотря на то что это был немецкий чай и наливался из немецкого термоса. Хотя есть ли что свое у немцев? Чужого нахапали. Янина сказала, что чай французский. Термос, наверное, тоже не немецкий, потому что раскрашен странно: с одной стороны пальма, под ней лев, а с другой стороны льдина и на ней белый медведь. Никаких немецких знаков или надписей. Во всяком случае, Ольге показалось, что никогда не пила она такого чая, даже тогда, когда на столе шумел самовар и подавалось лучшее варенье. А тут щепотки сахара не было, а так вкусно.

Посидели они недолго, с полчаса, но как-то сблизились. Янина сама напомнила, что Ольге нужно уходить, — сказала адрес и пароль, по которому незнакомый Витек должен признать ее своей.

Когда Ольга одевалась в коридоре, Янина Осиповна вспомнила о платке и очень смутилась, что, переложив платок со стола на стул, забыла о нем.

— А платок? Простите, ради бога...

Ольга взяла принесенный Яниной из комнаты платок, развернула, как бы любуясь, и вдруг, обняв хозяйку, накинула платок ей на плечи, закутала плотно грудь, поцеловала в щеку.

— Какой он тепленький, а вам нужно сейчас тепло. —

И, не дав возразить растерянной женщине, быстро вышла.

На другую явочную квартиру (кстати, слова эти она услышала от Янины Осиповны) со вторым заданием в тот день Ольга шла с еще большим интересом, по-новому возбужденная, и возбуждение это было радостное.

Женщина, с которой она почти породнилась за короткое время, произвела необычайное впечатление, она как-то по-своему, по-женски, дополнила те особенные чувства, которые, возможно, впервые появились у Ольги осенью перед колючей проволокой лагеря или Седьмого ноября, когда после Сашиного упрека ей захотелось отметить советский праздник. Прорастали эти новые чувства нелегко, мучительно, по мере того, как она все больше узнавала Сашу, сближалась с ним духовно, А встречи с Командиром и его женой — как весенний дождь и после него солнце на эти живые ростки.

В тот день она, кажется, наконец поняла, что же это за люди, с которыми связала ее судьба.

Самое первое чувство, вынесенное после встречи с Яниной Осиповной, было неожиданным. Ученым людям она и раньше иногда завидовала, но учителей ценила не очень высоко: нервов портят много, а получают копейки. А тут впервые ей очень захотелось стать учительницей, учить детей. Вспомнила Сашины уверения, что у нее великолепная память, необычайные способности и ей обязательно нужно учиться. Просил ее пообещать, что будет учиться. Она обещала, но сама не верила себе, да и ему как-то высказала: «Какая там учеба!» А теперь шла по пустым заснеженным улицам и давала зарок, клятву самой себе, Саше, Командиру, Янине, небу, с которого порошил ласковый снежок и в котором, верила, есть бог, что обязательно пойдет учиться, сразу же, как только придут наши, не посмотрит ни на какие трудности. Были же до войны вечерние школы, будут и после войны, ведь потребность в них возрастет: подростки, которым нужно сейчас быть

в школе, не учатся, перерастут.

От неожиданного и просто-таки жадного желания учиться как-то сразу возросла ее уверенность в быстром возвращении наших и в обновлении жизни. И еще одно: какой прекрасной казалась теперь та довоенная жизнь, которой она как бы и не замечала или замечала тогда, когда появлялась причина поругать порядочки на рынке, в магазине, в паспортном столе, в очереди у кинотеатра, в трамвае. Теперь ей казалось странным, даже преступным, что за такие мелочи некоторые комаровцы иногда ругали советское начальство — своих же людей, из рабочих и крестьян. Так ругала старая Леновичиха, из-за этого отец часто спорил с ней, он объяснял все трудности по-рабочему. И даже по отношению к родителям в тот день в ней произошла какая-то перемена. До этого Ольга чаще вспоминала мать, особенно в тяжелые минуты, мысленно советовалась с ней, веря в ее жизненную мудрость, отца вспоминала реже, а сейчас с благодарностью думала о нем, точно беседовала с ним и, казалось, чувствовала, что он благословил ее.

Второй пароль ей говорить не пришлось, хотя дом она нашла не сразу, он стоял в одном из безымянных переулков у самого леса — Красного урочища. Дом был новый, но недостроенный, даже без ворот, — заходи, кто хочешь. А двор бесхозяйственно завален бревнами и досками, которые, впрочем, не лежали мертвым грузом: всюду здесь был вытоптан снег, желтела свежая стружка и щепки, под открытым, тоже недостроенным навесом виднелись недавно обструганные доски. Приятно пахло свежей сосной. Уже то, что здесь в такое время строятся, как-то хорошо подбодрило Ольгу, она почувствовала симпатию к хозяевам, людям, безусловно, работящим, уверенным в том, что жить им еще долго. Нет, видимо, уверены они в чем-то большем, чем собственное долголетие, раз сделали свой недостроенный дом явочной квартирой. Окна были забиты шалевкой, только две новые рамы, слева от крыльца, были застеклены.

Удивило крыльцо: оно одно было не только доведено до конца, но построено затейливо, с выдумкой, — с резными столбиками, поручнями, скамеечкой, будто хозяева решили, что без всего можно прожить, а без хорошего крыльца нельзя. Это уже не хозяйственность, а чудачество какое-то, подумала Ольга. Хотя чудачество было не только с крыльцом. Как, например, можно жить без ворот, когда во дворе такое богатство? Топливо в эту суровую военную зиму дорого так же, как хлеб. Даже ей, Ольге, никогда не бравшей чужое (государственное и оставленное беженцами она не считала чужим), нелегко было бы удержаться от искушения, если бы рядом жил сосед, во дворе которого лежало столько дерева и не было бы ворот.

Раз тут все настежь, то и зайти в такой дом можно, как в лавку, не спрашивая разрешения, без стука.

Ольга вошла в коридор, тут не было дверей в недостроенную половину дома — чернел проем, и пахло хлевом, сеном и навозом. Открыла дверь налево и попала в жилое помещение — просторную и теплую кухню. За столом сидели Командир и хозяин, довольно пожилой человек, и... выпивали. На непокрытом столе стояла бутыль с мутноватой жидкостью, это же питье было в стакане, стоявшем перед Командиром, перед хозяином стояла кружка из консервной банки, в тарелке квашеная капуста, лежали полбуханки хлеба и какой-то странный нож.

Ольгу все это неприятно поразило. Нет, не то, что люди пили и закусывали, а обыденность поведения подпольщиков и, показалось ей, непростительная неосторожность, полная противоположность тому, что она увидела, услышала и почувствовала на первой явочной квартире: там все, как говорится, было на нерве, на самых высоких чувствах, каждый жест и слово приобретали особый смысл, даже в том, как ее угостили чаем, было какое-то особенное благородство и тоже определенный смысл. А может, просто после того высокого, к чему она душевно приобщилась, ее немного разочаровала эта опротивевшая, будничная картина,

которую она наблюдала и до войны, когда Адась чуть ли не каждый день прикладывался к рюмке, и часто видит теперь: полицаи, как голодные собаки, шныряют, ищут, где бы схватить на дармовщинку этой гадости. Но у «бобиков» другой жизни и быть не может. А она увидела другую жизнь — у Олеся, у Янины Осиповны. Возможно, что из женской солидарности она обиделась за Янину: всегда вот так, жена где-то дрожит за него, а муж с рюмкой целуется...

Но все рассеялось, как только она увидела, как посмотрел на нее Командир, как поднялся навстречу, в глазах его была та же тревога, что и у Янины Осиповны. Вероятно, в ту минуту Ольга осознала один из главных законов конспирации: наибольшая безопасность и осторожность — в естественности, обычности обстоятельств и поведения. У учительницы должно все быть как у учительницы, а у этого мужика — как у мужика: чтобы из дверей попахивало хлевом, хлеб резали сапожным ножом и пили самогонку из жестяной кружки.

Настроение у Ольги быстро изменилось еще и потому, что этого человека, хозяина, она тоже знала по рынку, везло ей в тот день. Он не часто появлялся там, но комаровским торговкам запомнился один случай. Человек этот, инвалид, без ноги, на деревяшке, однажды продавал сапоги, и к нему прицепился милиционер. Оба разгорячились и схватились за грудки. Тогда милиционер его арестовал за оскорбление власти и повел в отделение. Хотя милиционер у торговок был своим парнем, никого из них не давал в обиду и сам благодаря отзывчивости своей неплохо кормился, бабы все равно заступились за инвалида. Окружили его и подняли крик, бунтовали за справедливость, угрожали, что пойдут к начальнику. Милиционер вынужден был простить оскорбление, за что был вознагражден славой хорошего человека и получил компенсацию за оторванную пуговицу.

Не дав Ольге отойти от порога, Командир нетерпеливо спросил:

— Что там?

Увидел, что она точно сконфузилась, понял ее осторожность, похвалил про себя и тут же представил старика:

— Это наш товарищ. Захар Петрович, тот самый «Витек»...

— Вот, черти, выдумали! — с улыбкой покачал головой хозяин и тоже поднялся, громко стуча протезом по полу, взял около печи табурет, поставил к столу, пригласил: — Садись, Ольга, мы тебе погреться дадим.

Ольга села и рассказала, что случилось в Пушкинском поселке и что думает Янина Осиповна, передала и предупреждение ее, чтобы он не появлялся пока.

Командир слушал молча, став вдруг серьезным, озабоченным. А Ольга почувствовала вдруг, что ее голос дрожит. Удивилась, почему волнуется, рассказывая о выполнении первого задания, очень простого, по существу обычной человеческой услуги. Потом поняла. Все это теперь, в ее рассказе, приобретало действительно особенный смысл — для нее самой. Казалось, не тогда, когда спасала Сашу, и не тогда, когда он уходил и она дала согласие на просьбу Командира, и даже не тогда, когда Командир дал ей это задание и она пошла его выполнять, а именно сейчас, передавая разговор с Яниной Осиповной, она будто переступает невидимый порог и вступает в новую жизнь, очень опасную. Но не оттого ли она волнуется, радостно волнуется, что, зная об этой опасности, впервые не чувствует того страха, от которого раньше холодело сердце и млели руки?

В конце рассказа она воскликнула в искреннем восторге:

— Какая у тебя жена, Командир! В такую даже я влюбилась.

Андрей благодарно улыбнулся. А старик засмеялся

весело, как молодица, и пожелал:

— Ах, чтоб вам добро было!

Он достал из ящика стола выщербленную, пожелтевшую от времени рюмку, вытер ее рукавом своей заношенной фланелевой сорочки и, налив в нее самогонки, церемонно поднес Ольге:

— Проше, пани.

Ольга взяла рюмку, лизнула и скривилась:

— Тьфу, гадость! Как керосин немецкий!

Захар Петрович покатился со смеху и правда как мальчик Витек, даже слезы на глазах выступили.

— Ты посмотри, Андрей, да она же панской породы! Где она росла, такая княжна? Царский напиток для нее немецкий керосин. Ах, чтоб тебе добро было! Да это же бульбовочка[5] наша дорогая!

Ольгу беспокоило, что Командир, сам большой шутник, — как он разговаривал с ней при прежних встречах! — никак не откликается на шутки. Что его взволновало? На месте человеку не сидится.

Андрей ходил по просторной комнате — от пустой печи до угла, где стояли колода, низкий табурет с кожаным сиденьем и ящичек с сапожными инструментами. Выходит, те сапоги Захар Петрович пошил сам. Однако он не только сапожник, но и плотник, столяр: в большем порядке, чем все остальное имущество, на полке лежали рубанки, стамески, висели на стене пилы-ножовки.

Следя за Андреем, Ольга по-женски быстро и внимательно осматривала жилье, удивилась, что все тут сделано неженскими руками. Даже кровати не было, — спали, вероятно, на лежанке или на широкой печи.

Командир остановился у стола, сказал, обращаясь к старику:

— Понимаешь, Петрович, что меня волнует. За неделю эта третья облава такая, когда оцепляют целый район. Янинина догадка совпала с моими предположениями. О тех облавах я ей не говорил, но видишь, что она передает. Теперь не сомневайся, никого другого так ловить не стали бы, чтобы автобатальон поднимать по тревоге. Только радиста! А он неуловим. Ах, как бы связаться с этим парнем или девушкой! Как это нам нужно, если бы ты знал! Связь с Москвой!

— Раз ему есть что передавать, значит, он связан, с кем нужно.

— Но с кем? С кем?

— Братец ты мой, не одни мы с тобой в Минске. Я тебе рассказывал, кого встретил...

— Я знаю, что не мы одни. Но как нам объединить всех?

— А зачем? Чтобы гитлеровцам легче было нас переловить? Это артисту хочется, чтобы его все знали. А нам с тобой аплодисменты не нужны. Лучше в одиночку.

— Здорово у тебя держится психология единоличника.

Захар Петрович безобидно засмеялся.

— Ты меня хоть горшком называй, только в печь не ставь.

— Боишься огня? — задиристо и едко пошутил Командир.

Но инвалид ответил с отцовской снисходительностью:

— Пошел ты, Андрей, к прабабке. Давай лучше выпьем,

— Давай. — Андрей глотнул из своего стакана и смешно скривился. — А правду Ольга сказала — керосином пахнет. В керосиновом бидоне, наверное, держишь, хитрей старый?

— Вот заноза, чтоб ты так жил! Как тебе жена угождает?

Это Ольгу рассмешило. Тогда и Андрей хорошо засмеялся — так как смеялся при прежних встречах, показывая ряд белых красивых зубов.

— Ладно, Петрович, считай, что твоя самогонка отменная. Будь здоров, начальник АХО.

— Понижаешь что-то меня, был начальником штаба.

— А ты у нас каждый день в новой роли. А говоришь — не артист. Еще какой артист!

— Не плети ты... Закусывай. Да бери хлеб, не жалей. Куплю я хлеба. С моей профессией с голода не умру.

— Если б ты знал, какие драники печет Ольга Михайловна! Язык можно проглотить. Я как попробовал, так до сих пор пальцы облизываю.

Ольге была приятна такая похвала, хотя и сказанная шутливо. Вообще ей нравился весь их разговор, их отношения, простые и дружеские, несмотря на разницу в годах, в положении, в образовании. Командир если не офицер Красной Армии, то наверняка какой-то советский начальник, по всему видно. А старик — самый простой человек, который, не имея ноги, занимается, по-видимому, всем потихоньку — шьет сапоги, мастерит табуретки. Но и такой человек пошел на врага. Единственное, что разочаровало женщину, — невольное признание Командира в отсутствии связи с Москвой. А она была уверена, что уж они-то обязательно должны иметь такую связь. Вызвало восхищение желание Командира найти радиста. Как он ломает голову над этим! Даже захотелось помочь ему в его поисках. Но как? Это все равно иголку в стогу сена искать.

Изменилось ее представление о подпольщиках после замечания Захара Петровича, что не одни они в городе, что он встретил кого-то такого, что даже не захотел

назвать при ней. Она не обиделась. Действительно не нужно каждому из них знать слишком много, многих людей. Чего человек не знает, того он не скажет ни жене, ни другу, ни следователю. Был момент, когда яснее представилась опасность того пути, по которому пошла, даже страх шевельнулся от слов Захара Петровича: «Чтобы гитлеровцам легче было нас переловить?» Да, могут переловить. Однако как просто они об этом говорят, мужчины. Так, наверное, говорят о возможной смерти перед боем солдаты. Пьют, едят, шутят и вспоминают о смерти как о неизбежном на войне. Но никто не забывает о долге — пойти в бой, в атаку...

Так говорит старый инвалид, у которого жизнь позади. Он прожил жизнь, а она только начала ее, жизнь... А Янина Осиповна? А Командир? Они решились иметь ребенка. И все равно идут в бой.

Ей, Ольге, действительно повезло — в один день встретиться с такими разными людьми. И она полюбила их, этих людей, убедившись, что не ради своей выгоды идут они на такое дело. Они подтверждали Сашины слова. Но еще более важным было для нее их доверие, ведь жизнь они свою ей доверили. Как же она может отступить теперь? Нет, теперь у нее одна дорога. Вместе с ними. На славу или на смерть. Как в песне поют.

## X

Ольга не спала. Не могла уснуть. Чутко вслушивалась в ночь, ловила каждый шорох, каждый звук. Меньше всего ее тревожили короткие выстрелы, их она слышала не один раз. Мимо ушей пропускала свистки и грохот паровозов. А вот залаяли собаки — и она вся напряглась, готовая вскочить. У горожан собак нет, их уничтожили по приказу немцев. Собаки только у тех, кто охотится на людей. Но собаки как встревожили, так и успокоили — лай их не приближался. Пугали другие звуки — неясные, таинственные, которыми был полон ее старый дом. Казалось, кто-то тяжело дышал за

окном, к го-то притаился на чердаке и осторожно переползал там, а в погребе перемещались с места на место бочки, ящики, бутыли.

Привидений она не боялась, в домовых не верила. Вообще она ничего не боялась. В последнее время спала спокойно. Долго не засыпала разве только тогда, когда день был переполнен такими событиями, о которых ночью нужно было серьезно подумать, вспомнить все, что услышала и увидела. Но в таком случае она думала, а не прислушивалась вот так, когда беготня и писк мышей начинали казаться засадой гитлеровских шпионов. Смешно. Зачем им засада? Им достаточно одного подозрения, чтобы приехать на машинах и схватить не только виноватого, его семью, но и соседей, всю улицу... Она, Ольга, знала это и все же засыпала без страха после того, как начала выполнять задания подпольщиков. Оставалась вдвоем со Светкой, даже не приглашала ночевать тетку Марилю. Не приглашала потому, что ждала Сашу. Каждую ночь ждала. Из-за этого иногда не спалось. Но совсем не из-за страха. Страх она переборола, казалось ей, навсегда еще в тот первый день, на первых явочных квартирах, особенно у Захара Петровича.

Чем больше она знакомилась с подпольщиками, чем глубже вникала в работу, тем больше смелела. Или, может, просто привыкла к опасности? Человек ко всему привыкает.

Работа захватывала. Да и как не увлечься, если вся ее торговая деятельность приобретала совсем иной смысл — тайный. Теперь она торговала не ради своей собственной выгоды. Стоя рядом с бывшими подругами, она смотрела на них другими глазами, как бы с высоты, с радостным волнением думала: «Если бы вы знали, кто я такая и что я делаю!» А над полицаями просто издевалась, играла, как кот с мышами.

Правда, теперь ей больше приходилось заниматься барахлом, что она не очень любила, — ходить по домам и скупать вещи. Но и о продовольственном рынке не забывала: нужно же сбыть с выгодой выменянные

продукты, а иначе, прекрати она вдруг торговать, ее походы в деревни, которыми так дорожили Захар Петрович и Командир, могли бы вызвать ненужные разговоры, догадки, подозрения. Да и старые подруги сообщали иногда нужные сведения.

Ольга, конечно, не догадывалась, что незаметно стала одним из самых деятельных членов подпольной группы. Андрей хотел иметь такую связную. «Только связь», — повторял он, когда разговор шел об Ольге. Но благодаря своему занятию «надомницы», неутомимости — за день полгорода обегать, — благодаря хитрости и уму, женской привлекательности, умению подмигнуть пошутить, легко познакомиться, благодаря своим многочисленным прежним знакомствам с горожанами и особенно с полицией Ольга само собой, без специальных заданий, превратилась в хорошую разведчицу. Знала многие городские новости, что где случилось, где что находится, и этим помогала своим наладить связь с другими подпольными группами, о чем даже не подозревала. По собственной инициативе помирилась с братом, работавшим на бирже труда, и приносила некоторые сведения от него. Хотя к Казимиру она пошла на поклон и по другой причине, своей личной: чтобы в случае чего не оставил Светку — все-таки родной дядька, не чужой. Прежнего страха не было, но не думать об этом не могла, практично предусматривала все — и хорошее, и плохое.

С Командиром встречалась редко. У Янины Осиповны ни разу больше не была. Постоянную связь держала с Захаром Петровичем. Может, оно само собой так получилось, ведь никто не запретил ей наведываться в этот дом без ворот, без замков, более того — хозяин в первый же день пригласил: «Заходи, Ольга». Выходит, можно зайти просто так, без задания. И ей нравилось бывать в этом недостроенном доме. Простота и естественность старого инвалида, отсутствие в его поведении всяческой таинственности, лишних напоминаний о войне и опасности привлекали. Удивительно спокойный был этот человек, его спокойствие и какая-то необычайная убежденность в

необходимости и неизбежности того, что они, подпольщики, делают, передавались Ольге. Конечно, они не могли не говорить о войне, но после разговора с Захаром Петровичем никогда не думалось о плохом. Смерть и страх для него точно не существовали, о них старик никогда не говорил. О войне рассказывал или весело, с юмором, или с той серьезностью, с которой большинство людей говорят о своем труде — в поле, на заводе. Так Ольгин отец говорил о своем кожевенном деле. Возможно, человек этот в душе оставался военным, потому о своих гражданских занятиях говорил иначе. Показывал сшитые сапоги и смеялся: «Ты смотри, Ольга, ни разу мне не удалось стачать пару сапог, чтобы один на второй был похож. Ох, и даст мне заказчик!» Или вдруг смотрел на дверь и заливался смехом: «Ах, чтоб я был жив! Я и не заметил, что так перекосило косяк Вот мастер так мастер!»

О своих походах в армии Буденного Захар Петрович рассказывал охотно и весело, чувствовалось, как он любит своего командарма и товарищей. О том, как потерял ногу, рассказывал так, что чуть ли не хотелось смеяться — и это над бедой, над калекой.

Перед самой войной приехала в гости к Захару Петровичу невестка с внуком, жена старшего сына, офицера. Очень испугалась женщина войны. Бросилась на вокзал, но ни в один поезд — ни в пассажирский, ни в товарный — не села. С невесткой, помогая нести ей двухлетнего ребенка, пошла из Минска свекровь, жена Захара Петровича. Намеревалась вернуться, но... «Драпанули мои бабы, наверное, так, что и немецкие танки не догнали их. Иначе вернулись бы. Многие из минчан вернулись». О жене и невестке говорил с затаенной печалью, с тревогой, но все равно с шуточками. А вот младшего сына, Витька, который недавно ушел в партизаны, старик всегда вспоминал серьезно и по-отцовски озабоченно. «Снился сегодня мой Витек. Лес с ним пилили. Такие высокие сосны спускали. К чему бы это, Ольга, не знаешь?» Не верил ни в сны, ни в приметы, над иконами и богами издевался, гадалок, ходивших по домам, выгонял, но

всему, что касалось Витька, верил. «Если бы ты знала, что за парень мой Витек!», «Это Витек сделал. Золотые руки у парня».

Наверное, о Витьке он говорил не одной Ольге, не случайно ему и кличку подпольную дали «Витек».

Ольга полюбила старого чудака с первых встреч и доверялась ему больше чем кому бы то ни было. У Командира не отважилась больше просить, чтобы позволил Саше прийти к ней или хотя бы дал его адрес. А у Захара Петровича попросила. И тот сразу, ничего не спрашивая, понял ее, даже ей немного неловко стало.

— Знаю твоего Соловья. У нас он Соловей. Был у меня, ночевал две ночи. Умный парень. Как Витек мой.

Называя ей через два дня адрес, усмехнулся: «Любит Андрей играть в конспирацию. Зачем ему было разлучать вас? Была бы у вас хоть какая-то радость. А конспирация — это такая хитрая штука, что чем проще, тем надежней. Не нужно переигрывать».

Она в тот же день побежала на другой конец города, на Каменную улицу. Олеся дома не было. По-женски успокоилась, когда увидела, что квартирует он у старых одиноких людей. Попросила их передать Саше, что приходила Ольга. Покрутилась, покрасовалась перед хозяевами, давая им понять, что цель у нее чисто личная, спросила даже:

— Девчата к нему не ходят?

— Что ты, милая! Святой парень, — сказала хозяйка.

— Все они, тетечка, святые, пока материнскую сиську сосут, а как нематеринскую увидят, куда их святость девается...

Старуха даже перекрестилась тайком.

Олесь пришел на другой день утром. Она топила печь, хлопотала по хозяйству. Обняла его мокрыми руками, целовала на кухне. Он укорял ее, что так нельзя, что

она сильно смутила его хозяев, бросивших ему упрек, что к нему приходила девка, похожая на тех, что путаются с немецкими офицерами. Она ответила сердито, словами Захара Петровича:

— Не играйте вы с Андреем в конспирацию. А хозяевам твоим сказала так потому, что не понравились они мне. Их будто с пеленок напугали. А я не люблю пуганых да пришибленных!

— Когда ты сама стала такой смелой?

Чуть не поссорились, зато потом горячо мирились.

Хозяева действительно не понравились ей, и она, думая о Сашиной безопасности, рассказала о них Захару Петровичу, все сказала, как было. Инвалид до слез смеялся над ее словами- «Ах, чтоб тебе добро было! Так говоришь, пока увидят нематеринскую?» Но успокоил: хозяин квартиры его давний друг, вместе на беляков ходили, рабочий паровозоремонтного завода, был членом партии, но его исключили — из-за жены, она в церковь ходила, но женщина она честная, добрая, хотя и набожная.

Ольга обрадовалась, что Саша живет не у случайных людей, а на самом деле находится под охраной такого человека, как Захар Петрович, уверена была, что его охрана самая надежная. Правда, случалось, что и сам он удивлял и пугал ее неосторожностью и, казалось, ненужным риском.

В недостроенной половине дома старик держал козу, вероятно испытывая необходимость в присутствии кого-то живого, да и стакан молока дорого стоил. Коза ласкалась к хозяину, как собака, но и по-собачьи бросалась на чужих бодаться. Ольгу долго не подпускала к себе, пока, очевидно, не убедилась, что женщина свой человек в доме. Там же, где жила коза, сохранялось сено, сложенное вдоль глухой стены, под сеном был настлан пол. Однажды Ольга присматривала за козой. Через штабель досок, отгораживавших животное, доставала вилами сено; когда поднимала, из

сена выпало что-то тяжелое, круглое, покатилось по полу. В доме было полутемно, поэтому трудно было рассмотреть, что это такое. Ольга перегнулась через доски, взяла предмет в руки, подняла, поднесла к глазам и чуть не потеряла сознание от неожиданности и страха. Граната! Круглая, с нарезном кожухом. Видела такие еще когда-то в школьном военном кабинете, знала, что их называют «лимонками». Но там были пустые, разряженные, а это, конечно, боевая, упала, ударилась о пол, да и железные вилы ее могли зацепить... Значит, вот-вот должна взорваться. В руке у нее... Что делать? Швырнуть? Куда? Кругом стены. В сено? Чтобы оно загорелось от взрыва? Неизвестно, сколько времени она стояла неподвижно, держа в руке смерть свою. Потом сообразила, что если сразу не взорвалась, значит, сиюминутной опасности нет. Осторожно, как стеклянную, положила гранату на доски. Белее полотна вошла в жилую половину дома. Захар Петрович сразу, по виду ее, понял, что случилось что-то необычное. Глянул в окно — не окружают ли дом гестаповцы? Нет, никого не видно и не слышно.

— Там... граната, в сене...

— А, чтоб тебе добро было! Напугала. Как же это она выкатилась?

Пошел туда, к козе. Взял гранату, подкинул ее, как мячик, на ладони.

— Не бойся, она без запала. Испугалась? — Перелез через доски в сено, позвал Ольгу: — Иди сюда, я тебе что-то покажу.

Разворошил в углу сено и показал «гнездо», в котором, будто яйца неизвестной огромной птицы, лежали такие же гранаты, пожалуй, с полсотни. И порадовался, как мальчик:

— Вот богатство, Ольга! Вот бы нашим в лес занести! Витькý моему. Нам здесь негде их применять. А им там, в лесу, они как хлеб.

Незадолго перед этим Ольга первый раз ходила на необычное задание — к партизанам, занесла им бинты, йод, другие лекарства. Правда, у самих партизан она не была, передала все это их связному в деревне Руденского района, хорошему знакомому Захара Петровича — вместе на рыбалку ездили на Сергеевское озеро.

...Стукнули двери, заскрипели под чьими-то ногами настывшие доски. Ольге показалось, что стукнула калитка ее двора и скрипят половицы ее крыльца — так близко. Белой чайкой слетела с постели, прилипла к одному, к другому окну. Теперь она не закрывала ставен, боялась слепоты и глухоты, удивлялась, от чего когда-то закрывалась ее мать — в то тихое, мирное время!

Выйдя на кухню, услышала знакомый кашель и кряхтенье соседа-старика, глянув в окно, увидела, в черном кожухе и белых подштанниках он возвращался из уборной. Успокоилась. Подумала о соседях — теперь ей не безразлично, что они за люди. С этим дедом мать ее часто ссорилась, из-за чего — уже невозможно вспомнить. Она, Ольга, оставшись в начале войны одна, с ребенком, постаралась со всеми соседями наладить хорошие отношения. Этим старикам в последнее время даже помогает харчами. Но с грустью подумала, что ни одному из самых близких соседей она не может довериться так, как Боровским.

Стоять босой на полу было холодно. Ольга обулась в валенки, набросила поверх рубашки кожушок. Села около печки. Решила больше не ложиться — все равно не уснет. Будет сторожить его сон вот так, сидя, чтобы не вскакивать на каждый мышиный шорох и скорее почувствовать действительную опасность. А что бы они, Саша и она, делали, если бы те, в черных мундирах, вдруг появились здесь? Нет, об этом лучше не думать. Однако тут же пришла мысль, что в кухне достаточно вынуть зимнюю раму, чтобы можно было открыть окно и выскочить на огород. А еще подумала, что хорошо было бы попросить у Захара Петровича пару «лимонок»

— для Саши, на случай, если ему придется отбиваться. Не сомневалась, что просто так он не сдастся, будет бороться за жизнь. Раньше при мысли о таком неравном бое ее охватил бы ужас, теперь понимала, что это единственный и совершенно естественный выход.

А может, и лучше, что Боровские не самые близкие соседи? Последней, кто назвал ее не так давно мещанкой и даже больше — предательницей и шлюхой, была Лена. Но она, Ольга, не только не обиделась, она обрадовалась, потому что разговор этот происходил у них после... после того, как изменилась ее жизнь.

Она знала о Лене все. Захар Петрович хвалил Боровскую, говорил, что хорошая у нее, у Ольги, подруга. А Лена о ней не знала ничего, и Ольге это нравилось: она впервые чувствовала свое как бы превосходство над Леной, — выходит, она в организации более засекреченная. И о Саше Лена не знала. Пришла и спросила, куда девался Олесь, — дошло до Боровских по соседям, что Ольгин квартирант исчез.

— А я выгнала его.

— За что?

— А какой с него толк? Разве это мужчина? Только другим мешает. За мной, знаешь, кто ухаживает? Офицер.

Вот тогда Лена и выпустила в нее такую очередь, такие словечки, каких она ни от кого раньше не слышала. А она, Ольга, еще больше дразнила, такой выставляла себя, что побелевшая от гнева Лена бросила ей страшные проклятия и угрозу: придут наши — ее повесят вместе с другими предателями. После ухода Лены даже самой стало страшно: чего это она, глупая, нагородила! Расскажет Лена — стыдно будет людям в глаза смотреть. Да и грех это перед богом и собственным ребенком — так обесславить себя.

Но, наверное, Лена все же не рассказала, потому что

скоро пришла старая Боровская и попросила Ольгу взять в очередной поход по деревням ее Костика. «Собрала что получше, пусть выменяет на какой-нибудь харч, а то совсем семья голодает». Ольга охотно согласилась: все-таки мужчина рядом, защитник. С бабами она не любила ходить, одной же бывало страшновато. Но Костик, поганец, всю дорогу задирался, до самого Слуцка, колючий был, как шило, слова ему не скажи, издевался над ее коммерцией, ругал по матушке каждого встречного немца. Попросились в немецкую машину — взял их шофер, она, Ольга, в конце поездки благодарит, рассчитывается марками, а он, Костик, во весь голос:

— Пулю бы тебе в лоб, гитлеровский пес! Ишь морду отъел на наших харчах, падла фашистская.

Ольга чуть в обморок не упала от страха. Хорошо, что немец — ни слова по-белорусски. Кивает на Костиковы слова, соглашается:

— Я. я...

Не выдержала она, влепила Косте леща.

— Борец, мать твою!.. Дурак, мякиной набитый!

Потом Костя больше суток рта не раскрывал, будто онемел. Ольге даже страшно стало: вдруг этот очумелый отмочит что-нибудь такое, что потом не расхлебаешь. И выменивать ничего не выменивал, все пришлось делать ей, только котомки с просом и ячменем носил.

На обратном пути ночевали в Валерьянах. Костя с хозяйским сыном немного старше его сходил на вечерку. В деревне нет комендантского часа и той напряженности, которая тут, в городе, принуждает бояться соседа, хотя и прожил с ним рядом всю жизнь.

На другой день дорогой Костик заговорил, но уже совсем иначе, будто за ночь парня подменили, — серьезно, уважительно, даже обратился необычно, без

прежнего панибратства:

— Тетя Оля, машину не останавливай, я не полезу. Я, конечно, помогу тебе поднести ближе к Минску наши узлы, а там уж, пожалуйста, ты как-нибудь сама. Я в город не пойду.

Ольга ахнула. Вот связалась на свою голову! Еще такой беды не хватало!

— А куда же ты пойдешь? Костя ответил не сразу:

— В партизаны пойду.

— Где ты их найдешь, дурень?

— Найду!

Такая уверенность в ответе, во взгляде, что она на какое-то мгновение растерялась: что делать, как вести себя?

Попыталась просить:

— Костичек, миленький, что же это ты делаешь со мной? Меня же твоя мать съест, что не уберегла тебя. И сама умрет от горя.

Помрачнел, помолчал, только простуженным носом сопел.

— Не умрет. Не у нее одной дети воюют.

Машину Ольга не остановила — боялась, что не возьмут да еще поведением своим подозрительность у немцев вызовет; среди немцев разные бывают, попадаются будто и люди, но чаще — хуже зверей.

Надеялась, что передумает Костик. Целый день шли по скользкой зимней дороге с тяжелыми узлами. На уговоры ее Костик не отвечал, снова угрюмо молчал. А когда спросил, сколько верст осталось до Минска, Ольга поняла, что решение его твердое.

— Где ты будешь искать их, партизан этих?

— В лесу.

— По такому снегу? Погибнешь, как ягненок из сказки. Волки съедят.

— Ну, ты меня не пугай. Не на того напала. В городе теперь худшие волки.

До Минска им не дойти, если на машину не сядут, придется снова где-то ночевать. И в эту ночь Костя, наверное, исчезнет, а она не сможет даже сказать Боровским, куда он пошел, в какой лес.

— Хочешь, отведу тебя к партизанам?

Костя даже остановился от неожиданности.

— Ты? Ты можешь отвести к партизанам?

— Если попросишь хорошенько.

— Ой, насмешила!..

Повалился на придорожный сугроб, задрыгал ногами, доказывая, как ему смешно оттого, что она, комаровская торговка, знает, где партизаны, хотя видно было — смеяться ему не хотелось, не до смеха было, утомленному, простуженному, полному страха перед неизвестностью. Ольга все понимала, но за шутовство обиделась.

— Полежи, полежи, подрыгай ногами...

Догнал ее, серьезный, точно повзрослевший, — вдруг сообразил-таки, чертенок, что не зря она сказала про партизан.

— Прости, Ольга, за все. Думаешь, кто-то другой поверил бы, что ты связана с партизанами? Какая ты молодец! А Ленка... Только много говорит — будто нас агитировать нужно! — а ни черта не знает. Сколько просил ее!

Хитрый жук, знает, как ревниво относятся они друг к

другу, сестра его и она, Ольга.

— Но для этого нам нужно пойти на Руденск.

— Да куда хочешь, на край света пойду теперь за тобой.

Связной Марьян Сивец, который и при Советах, и теперь, при немцах, работал на железной дороге, хотя и жил в деревне, был недоволен, что она без согласия Захара Петровича привела пацана, так и сказал: «Партизанам нужны военные, офицеры Красной Армии, а не сопляки, таких в деревнях полно, только свистни». Но, на Костиково счастье, выяснилось, что Сивец знает Лену, встречался с ней у Захара Петровича, — возможно, Лену готовили для связи с ним, но потом она, Ольга, лучше подошла к этой роли.

К Боровским Ольга не отважилась идти, побоялась объяснения с матерью Кости. Через соседского мальчика позвала Лену. Лена прибежала, запыхавшись, бледная, вскочила в дом стремительно, с порога закричала:

— Где Костик? Куда ты его дела?

Пришлось рассказать ей всю правду. И произошло у них тогда великое примирение. Обнимались, целовались, просили друг у друга прощения, клялись в вечной дружбе.

Ей, Ольге, сейчас спокойнее, что рядом есть еще один близкий человек — школьная подруга, которой можно все рассказать, с которой можно посоветоваться, ничего не скрывая. Когда-то жалела, что Боровские не самые близкие соседи, не через забор, — казалось, что тогда бы они охраняли друг друга. Но теперь подумала, что вряд ли стоит выставлять дружбу с Боровскими напоказ. Лучше держаться подальше. Пожалуй, и к Захару Петровичу не стоит так часто наведываться. Нет, к нему можно. Он не боится за себя. А вот за него, за Сашу... Не нужно, вероятно, приходить ему сюда на ночь, радости ей от этого мало. Возвращался страх, от которого она избавилась и уже спала спокойно. Не

нужен ей этот страх, он, как ржавчина, разъедает душу, ослабляет волю...

Задумалась и не услышала, как поднялся с постели Олесь, пришел к ней на кухню. Вздрогнула, увидев его перед собой, будто он внезапно застал ее за чем-то недозволенным или недостойным.

— Почему ты сидишь тут?

— Да так... Не спится.

— Почему тебе не спится?

— Я спала днем, — солгала она неуверенно: он хорошо знал, что днем она никогда не ложилась.

— Скоро утро, а ты так и не уснула.

— Нет, я спала.

— Не спала ты. Я слышал.

— И ты не спал? — удивилась она. Всегда думала, что по дыханию его чувствует, спит он или не спит, сон у него всегда был тревожный, как у мальчишки, у которого было днем слишком много впечатлений. Сегодня он спал спокойно, неслышно и этим ввел ее в заблуждение.

Ольга и при том свете, какой давал отблеск снега за окном, увидела, что он стоит босой, в одной исподней рубашке.

— Не стой так, пол холодный. На валенки, я нагрела их.

— А ты?

— На печи мои сохнут.

Она отдала ему старые, растоптанные отцовские валенки, накинула на плечи нагретый ее телом полушубок. Валенки она в самом деле взяла свои, маленькие, белые, фетровые, обула их. Но некоторое время стояла в ночной рубашке.

— Садись рядом. Мы накроемся одним кожухом.

Обрадованная, она быстро, как мышка, нырнула под кожух, обняла Олеся, прижалась к нему и так замерла на какое-то мгновенье, прислушиваясь к ударам его сердца, точно стараясь услышать его мысли. Потом припала губами к его щеке, прошептала женское, вечное:

— Как хорошо с тобой!

Но ответной ласки не последовало, он был более сдержан, чем обычно.

— Что тебя тревожит, Оля? Почему ты не спишь?

Она чуть отодвинулась от него и на минуту задумалась. Сказать ему, что ее тревожит? Сказать, чтобы он не приходил сюда, потому что она боится за него? Нет, сказать такие — это все равно что убить свою любовь, свою единственную радость.

— Я думала, как мы будем жить, когда кончится война. — И встрепенулась, поправилась: — Как я буду жить.

— Ты боишься?

— Чего?

— Той жизни.

— О нет! — Она совершенно искренне засмеялась. — Если я сегодняшней жизни не боюсь, то чего мне бояться той? Я радуюсь ей. Я твердо решила, что буду учиться. Как ты советовал. Что бы ни случилось, буду учиться. Я лежала и думала, как я буду ходить в школу. А потом в институт... А потом опять в школу, но уже учительницей, я хочу учить детей. — После знакомства с Яниной Осиповной она думала об этом много раз. — Веришь, что я могу стать учительницей?

Олесь с благодарностью поцеловал ее.

— Ты умеешь хорошо мечтать, красиво.

— У тебя научилась.

Он вздохнул.

— А я, кажется, разучиваюсь. Я так редко мечтаю теперь. Даже читать не хочется. Стихи особенно. Это пугает меня, Оля. Раньше для меня не было большей радости. Ты знаешь, я сам писал стихи, считал себя поэтом. И радовался — как я радовался! — что умею это, что получается у меня, что будет у меня когда-нибудь профессия, которая порадует многих людей. Со школы мои ровесники рвались в военные училища. Мне никогда не хотелось стать военным. Я тоже хотел стать педагогом и... поэтом. А теперь... убиваю... Но знаешь, почему я не мог уснуть, что меня беспокоит? Что не способен я на это и не могу научиться. Делаю и мучаюсь... Я убил их троих уже... немцев, фашистов... Ты помнишь, как меня колотило посла того, первого? Потом как будто ничего, особенных мук не было, так разве, нервы... Они сами искали своей смерти, они пришли, чтобы убить тебя, меня... Они зверствуют, расстреливают, вешают... Кровь за кровь! Смерть за смерть! Это не слова. Это смысл нашей жизни теперь. Они думали, что могут покорить нас... А ты посмотри, как поднимается народ. Ты сама рассказывала, что в каждом селе только и говорят о партизанах. А то ли еще будет! Я давно понял... О, как я понимаю: чем больше мы их уничтожим, тем быстрее придет наша победа. Но знаешь, что со мной случилось? Я получил задание... Подпольный комитет вынес приговор одному предателю. Я должен исполнить этот приговор. Но знаешь что? Знаешь что? Ты только, пожалуйста, пойми, никому другому я об этом не сказал бы, только тебе... тебе я могу рассказать все. Те, которых я убил, — немцы, пришельцы, я их видел только в лицо, и то издали... Для меня они не люди. Они пришли убить меня — я убил их. А это наш человек, наш, белорус. Может, было бы проще, если бы незнакомый... А то я знаю его лично. Сидел за одним столом... Понимаю, что предатель хуже любого фашиста. Но все равно... все равно убить этого человека мне нелегко. Я боюсь этого задания, Оля. Не могу придумать: как, где, когда?.. Не

сплю вторую ночь... Думал, успокоюсь около тебя...

И под теплым кожухом его начало лихорадить, волнение передалось Ольге. Она подумала, что предал кто-то из их подпольной группы, от этого стало страшно: а вдруг Олесь назовет имя человека, которого и она знает, с которым встречалась, доверяя ему не только одну свою жизнь... А может, случилось еще худшее: они ошиблись и присудили к смерти невиновного.

— Кто это? — шепотом спросила она.

Олесь вздохнул:

— Друтька.

— Дру-утька? — Ольга почувствовала облегчение, не кто-то из своих — «бобик», но и удивилась очень: самый смирный из полицаев, самый тихий, казалось, стыдится своей должности, за ней явно ухаживает, но никогда не нахальничал, как другие, лаской и покорностью хочет привлечь, поэтому она не сдержала своего удивления, сказала: — Такой добрый...

— Добрый? — Олесь сбросил с плеч кожух, поднялся, возмущенный ее словами. — Ты не знаешь, какой это гад. Тихий, но хитрый, как лис. Вынюхивает лучше собаки. Продавал коммунистов, расстреливал евреев из гетто... В приговоре записаны все его черные дела.

Ольга вспомнила, что неделю назад Друтька был у нее дома и она угощала его, а он все допытывался, куда исчез ее родственник. Она сказала, что поехал к себе в деревню, на Копыльщину. А полицай, подвыпив, еще раза два спросил: «Так куда, ты говоришь, он поехал? В какую деревню?» А еще сказал так, будто между прочим: «Не копыльский у него выговор. Я при Советах всю Минщину объездил». Тогда Ольга не обратила на эти слова внимания, занятая другим: Друтька предлагал съездить с ним на его родину, в Червенский район. «На коне поедем, в возке. Как пани. Со мной не пропадешь. Будешь выменивать свое барахло под

надежной охраной. Никто не прицепится. И выменяешь больше, ручаюсь. Сестра моя поможет. Люди у нас не скупые».

Заманчивое предложение. И Ольга думала, что стоит посоветоваться с Захаром Петровичем, как использовать поездку с полицаем, ведь ехать придется в нашу, партизанскую зону, так называл этот район старый подпольщик. Знала, на что надеется полицейский кот, но не боялась, верила, что насильничать не будет, не дошел еще человек до такого бандитизма; если бы дошел, то давно попробовал бы это сделать тут, в ее доме, соседей не побоялся бы, да и не дозовешься соседей, кто сейчас бросится на помощь? А Друтька вел себя так, что Ольга даже благодарна ему была: он как бы охранял ее от других полицаев и немцев; некоторые насчет ее и Друтьки отпускали соленые шуточки, и она с хитрой стыдливостью поддерживала эти шутки, во всяком случае, не опровергала: пусть думают, что она живет с Друтькой, не будут цепляться.

Теперь, вспомнив Друтькины расспросы, Ольга почувствовала, как ей становится холодно и под кожухом. Всплыло и еще одно: другие полицаи явно боялись тихого Друтьку. Нет, не безвинному вынесен приговор. Но она понимала Сашу. Ему, мечтателю, поэту, мягкому, доброму, предстоит совершить такое!.. Действительно, одно дело — немцы, пришельцы, оккупанты, палачи, тут война — кто кого! Но убить своего да еще знакомого...

Она уже знала, что это за люди, подпольщики. Они, конечно, захотят, чтобы все было по закону, безусловно, приговор написали. Наверное, перед казнью нужно будет прочитать его осужденному. Где? Как? Когда? Это не то что выстрелить из-за угла.

— Ну, простудишься же, — упрекнула Олеся таким голосом, будто только это сейчас и волновало ее. — Забирайся под кожух.

Он не послушался, только остановился перед ней, и

Ольге показалось, что и во тьме она различает, как бледно лицо его — белее рубашки.

— Не жалей его, Оля. Это враг. Страшный. Опасный. Для всех нас.

— Я не жалею. Я помогу тебе.

— Нет! — решительно запротестовал Олесь. — Андрей против того, чтобы тебя втягивали в другие дела, кроме связи.

## XI

У знакомого полицая Ольга спросила на рынке, где живет Друтька. Тот часа через два принес ей адрес домой, чтобы получить за это угощение. Чуть ли не силком выпихнув пьяноватого полицая, Ольга пошла к Друтьке.

Он жил на Пролетарской в трехэтажном доме. Если полицая не будет дома, рассчитывала оставить ему письмо — пригласить к себе, не сомневалась, что придет. Но Друтька сам открыл ей, хотя Ольга не сразу узнала его, не сразу даже разобралась, кто перед ней, мужчина или женщина. В длинном цветастом халате, в черной шапочке, в полосатых пижамных штанах, человек этот будто сошел в темноватый коридор с экрана немецкой кинокартины, которую она недавно смотрела; так посоветовал Захар Петрович, чтобы она ходила в кино и рассказывала ему, что там видела.

Узнала Друтьку — не удержалась, расхохоталась:

— А-а, Федорка, чтоб ты так жил! На кого ты похож?

Полицай немного сконфузился, застеснялся и минуту раздумывал, стоит ли такую гостью приглашать в комнату. Но тут же рожа его расплылась в искусительной улыбке, и он гостеприимно поклонился, как в кино, руками развел:

— Прошу, прошу, дорогая гостья!..

Из коридора вошли в светлую, с двумя окнами, комнату, и Ольга остановилась, пораженная.

Комната была загромождена, забита вещами. За всю свою жизнь мать и сама Ольга, работая, как каторжные, на огороде, таская выращенный урожай на рынок и без конца покупая одежду, вещи, не накопили и половины того, что находилось в полицейской квартире. Два стола, два дивана, мягкие кресла, комод из красного дерева, шкаф зеркальный — куда до этого ее шкафу, которым так гордилась старая Леновичиха!

Но больше всего бросались в глаза ковры на стенах, два огромных персидских, как их называли, с удивительными узорами ковра. Ольга на такие давно заглядывалась, мечтала купить, как только сама стала хозяйкой.

Этим не позавидовала, тут лее подумала, что все это не нажито честно, а награблено, может, у убитых им людей — вспомнила слова Олеся про Друтьку, за что ему вынесли приговор. А еще подумала по-своему, по-комаровски: «Вот хапуга, все на дармовщинку старается выпить и закусить, а сам столько добра натаскал; таким уж теленком прикидывался».

Ему сказала:

— Ну, Федор, живешь ты как князь!

Он довольно хихикнул.

— А чем мы хуже князей? Буду и я князем. Хочешь, и тебя княгиней сделаю?

— Куда мне, комаровской бабе! Мне только редиску продавать.

— Да тебя если приодеть, красивее любой княгини будешь. Видел я княгинь!

«Где ты их видел?» — хотела спросить, но подумала, что не стоит дразнить его: еще мать когда-то учила — дураку лучше поддакивать.

Друтька, не особенно прячась за шкафом, переодевался.

Чтобы не видеть, как он переодевается, Ольга отвернулась и сделала вид, что рассматривает ковер и замысловатое, с нарезным прикладом, охотничье ружье, повешенное на лосиные рога. Но в действительности ее заинтересовала картина над ковром: молодая, очень красивая женщина читала детям книгу, детей было человек семь, разного возраста, похожих друг на друга, празднично одетых: девочки в длинных платьях, с лентами в волосах, а мальчики в коротких штанишках, в белых рубашках, в разных по цвету курточках.

— Что это у тебя Гитлера нет? — спросила Ольга.

— Как нет? А вон на столе стоит освободитель наш!

— Ты смотри, а я и не заметила.

И похвалила портрет:

— Красивый. Усики мне его нравятся. И челочка.

— Ольга! — строго сказал хозяин, одним тоном дав понять, что обсуждать фюрера подобным образом не позволено.

Друтька вышел из-за шкафа, он натянул черные штаны, полицейские, обул сапоги, сбросил нелепую шапочку, но остался в халате, только расстегнул его, выставив грязноватую коричневую рубашку.

— Чем же угостить мне такую дорогую гостью? — с хозяйской озабоченностью произнес Друтька, почесав макушку.

Около стола Ольге ударил в нос нечистый запах мужского жилья, на полу в углу стояли грязные кастрюли и тарелки. Подумала, что ее могут угощать чем-то из таких вот тарелок, и стало гадко, хотя брезгливой не была — чистила любой хлев, могла перевязать гнойную рану.

— После угостимся, — сказала она. — Нет у меня сегодня времени. Собаку ноги кормят, так и меня. Я к тебе, Федор, по делу.

Друтька перестал убирать со стола, посмотрел на нее, заинтересованный.

— Ты приглашал поехать с тобой в село, на родину твою. Так я согласна. Подумала и решила: кто-кто, а Федор не обидит, человек свой. Я барахла накупила, нужно поменять, а то есть уже нечего.

— Так я и поверил, что у тебя есть нечего! Может, кормишь кого?

— А как же! Дивизию солдат кормлю!

Друтька засмеялся и, ободренный, осторожно, неслышно, как кот к мыши, ступил к ней.

— Когда поедем?

— Если бы завтра...

Он остановился, недовольно сморщился, задумался, усомнился:

— Не отпустит начальник.

— Тебя? — удивилась Ольга.

И это прояснило вдруг что-то в Друтькиной памяти.

Он осклабился, хлопнул ладонью по столу.

— Есть у меня козырь! Отпустит!

— Я же знала, что у тебя одни козыри, — усмехнулась Ольга и дотронулась рукой до его плеча, ласково посмотрела в глаза. — Только у меня, Федя, еще одна просьба. Заедем по дороге к моему дядьке под Руденском.

— Ничего себе по дороге! Такой крюк!

— Федечка, передали, что тетя заболела, лекарство просит. Что значит на хорошем коне какие-то лишние двадцать верст!

— Ну ладно! С тобой куда хочешь поедешь. Ты любого уговоришь. Награда будет?

— Будет. — Она игриво засмеялась.

Друтька попробовал обнять ее, но она проворно увернулась и погрозила пальцем.

— Э-э, сначала нужно заработать! — отступая к дверям, сказала она. — Так я жду тебя завтра, Федор. Когда приедешь?

— На рассвете. Лучше раньше, дорога-то не близкая,

В коридоре похвалился, показывая на две другие двери:

— Большевистский начальник жил из горкома. А теперь — мы. В тех комнатах по двое, а я один.

...От Друтьки она пошла к Захару Петровичу. Старый инвалид не очень понравился ей в тот день. Обычно он вел себя так, будто ничего в мире не случилось и величайшее событие в его одинокой и тоскливой жизни — ее, Ольгин, приход. Радость его всегда была естественной и искренней. А тут как будто не обрадовался ее появлению, был чем-то озабочен, хотя и старался спрятать свое настроение за привычными шутками. Но Ольга почувствовала — что-то случилось. Заколебалась: стоит ли начинать разговор? Значительную часть дела она сделала сама, может сделать и все остальное. Нет, не может. Ей теперь нужно это разрешение, без него она не имеет права везти туда полицая.

Обычно она раздевалась и сразу становилась хозяйкой в доме, и это особенно тешило старика. В этот раз она села около стола, как гостья, даже не раздевшись. И хозяин сел напротив: так садятся, когда стараются, оставаясь вежливыми, быстрее выпроводить непрошеного гостя. Захар Петрович был в ватнике,

облезлой шапке. Ничего удивительного, он почти всегда так одет, когда не сапожничает. Но. Ольга почувствовала, что в доме холодно, утром не топилась печь; это особенно обеспокоило: значит, в самом деле случилось что-то необычное. Но рассудила, что тем более нужно сказать, зачем пришла. Иначе что старик подумает: пришла, посидела и ушла...

— Один полицай приглашает меня поехать с ним на мену. Он едет к родным туда куда-то... в нашу зону. Так я подумала: не нужно ли что передать Марьяну? Полицаю скажу, что это дядька мой. Я же и раньше ходила как племянница.

Захар Петрович навалился грудью на стол и внимательно заглянул ей в глаза, так внимательно и проникновенно, что Ольге стало неловко и она едва выдержала его взгляд: ей показалось — старик понял, что говорит она не всю правду, полуправду.

— Как фамилия полицая?

Неужели подумал о Друтьке? Знает же, конечно, что тот осужден. Да и странно было бы ему не знать. Ей не однажды казалось, что не Андрей, а он, безногий, главный командир подполья, — во всяком случае, нитей к нему тянется немало. Придется обмануть. В жизни она делала это часто и просто. А тут почувствовала, как нелегко обмануть этого человека, тем более что потом придется рассказывать правду.

— Тихоньков, — вспомнила фамилию одного из полицаев, который чаще других дежурил на рынке.

Захар Петрович вздохнул.

— Передать есть что. Человека. Но человека с полицаем не повезешь.

— Не повезешь, — согласилась Ольга и поспешила рассказать свой замысел: — Я о чем подумала, дядя Захарка. Чтобы эти, — она кивнула в сторону недостроенной половины дома, где стояла коза, —

«лимоны» завезти.

— Гранаты? — прошептал старик, и глаза у него расширились и заблестели, как у озорного мальчишки.

— А что? Мешок он мой трясти не станет. И его никто не тронет. У него, знаете, какие документы? Когда еще представится такой случай...

— Ах, чтоб тебе добро было! — Захар Петрович тихонько засмеялся и даже заскользил деревяшкой по полу под столом и вмиг преобразился, стал таким, как всегда, — веселым, живым, по-отцовски добрым, доверчивым. Понравилась ему выдумка связной.

И Ольга сразу ожила, ей показалось, что сообщила своему руководителю самую главную правду, по сравнению с которой ее небольшой обман мелочь, своевольство девчушки перед зрелым человеком.

— Сколько же ты возьмешь?

— Много, конечно, не возьму. Так, чтобы завернуть в кофточки, в платки... В соль положу... Десятка полтора... Я думаю, и это хлеб? — спросила его не очень уверенно.

— Конечно же хлеб, Олечка, конечно хлеб. Они же передавали, что с гранатами у них туго, а у меня они ржавеют. Вот получит Витек подарочек от отца! — Потер руки и радостно засмеялся, но тут же осекся, стал серьезным и снова настороженным. — Постой. А как же тут, в городе? Подумала? Как их забрать? Мой дом «бобику» лучше не показывать.

— А я их сейчас заберу.

— Как?

— Насыплю в корзину, а сверху картошку.

— А, чтоб тебе добро было! «Насыплю»! Так просто! Рисковая ты, Ольга. А если остановят?

— Днем они редко проверяют. У меня только однажды мешок вытряхнули.

— Ну, вот видишь. Нет, так нельзя. Рисковать тобой не имею права. И так теряем много людей. — Он снова вздохнул. — Гранаты тебе принесут.

— Кто?

— Кто-нибудь принесет.

— Не все ли равно кому рисковать?

— Не нужно горячиться, Олечка. Дай хорошенько подумать. Это тебе не лишь бы что. со смертью в прятки играем.

У Ольги ёкнуло сердце: передумал старик, но не отказывает прямо, нашел причину, как отцепиться от нее; никто этих гранат не принесет, потом скажет, что «хорошенько подумал и передумал».

Но ей отступать уже некуда, нужно ехать и в крайнем случае без его, Захарова, разрешения заехать к Сивцу... Подумала, что так, может, даже и лучше — все взять на себя. Пусть потом карают за самовольство.

Нет, не передумал Захар Петрович. Прошелся по просторной кухне, постукивая деревяшкой, на печь почему-то заглянул, в окна поглядел — в одно, в другое.

— Запалы возьмешь сейчас, спрячешь подальше, куда-нибудь, извини, в рейтузы. А гранаты принесут. Под вечер.

Вышел за дверь, в недостроенную половину. Вернулся с небольшим свертком, развернул промасленную тряпку, и Ольга увидела красивые латунные трубочки, блестящие, новенькие, просто не верилось, что в таких игрушках смерть, с ними бы детям играть.

Захар Петрович отсчитал десяток, спросил:

— Хватит?

— Давайте полтора.

Вздохнул, будто ему жаль стало этих трубочек.

— Все тебе мало. Тяжелый мешок будет.

— Тут я не знаю, что мало, что много. Просто люблю поторговаться, побольше взять. — Ольга засмеялась.

— Сама-то ты хоть умеешь с ними обращаться? Вставить запал? Бросить гранату?

— Не-ет. Разве я гранатами когда-нибудь торговала?

— А, чтоб тебе добро было! Во боец! Нужно уметь. Все может понадобиться. Я все умею. Пошить сапоги, смастерить раму, починить часы, разобрать и собрать немецкий автомат... Хлопцы как-то его принесли, чтобы я научил пользоваться, так я досконально выучил технику немецкую, весь принцип их автоматики. Правда, за сапоги и за рамы удивляюсь, как меня до этого не побили заказчики. Делают скидку на мою ногу. — Стукнул протезом.

Разговаривая, Захар Петрович не спеша, снова посмотрев в окна, достал из ватника, из-за пазухи, «лимонку».

— Вот смотри. Вот так вставляешь запал. Вот так, под предохранитель. А это чека. Короче говоря, загвоздка. Вот так вырвала ее — и тогда уже быстрее бросай. А сама носом в землю, чтобы осколки не достали — они веером разлетаются. Сообразила? На, поучись. Только чеку не трогай, а то погибнем около собственной печи.

Науку Ольга всегда постигала легко. Сразу сделала все, как показывал старик, без единой ошибки. Захар Петрович похвалил:

— Тебе оружейным мастером надо быть.

От этой шутливой похвалы почему-то больно сжалось сердце: как много она могла познать в жизни, дорога же была открыта, как многим другим, а она променяла

науку на огород и рынок, на тачку с салатом и луком.

Об этом думала и по дороге от Захара Петровича, неся под грудью запалы. Снова мечтала, что когда-нибудь будет учиться. Даже разволновалась, будто бежала на приемный экзамен. Да недолго пришлось помечтать: навстречу прошли бело-серые, в пятнах, немецкие грузовики, и солдаты на одном из них со смехом и гиканьем стали показывать на нее пальцами. У Ольги подкосились ноги. А вдруг грузовик остановится и они окружат ее, начнут срывать одежду?..

Страх перед немцами возник снова, когда собирала маленькую Светку, чтобы отвести к брату. Думала, что это самое простое, боялась только одного — своего прощания с ребенком. За все время оккупации — и летом, и осенью, и теперь, зимой, — Ольга не выводила малышку дальше дома тетки Марили, через три двора в их переулке. Если не считать тех двух или трех немцев, что заходили к ней с полицаями, оккупанты не видели ее ребенка, он жил в своем государстве, по своим законам. А теперь нужно посадить ее на саночки и везти очень далеко — на Сторожевку. Правда, не по центральной улице, где большинство прохожих немцы, но, может, это еще и хуже — на глухих улицах если какой гад прицепится, то и защитить некому. Пожалуй, никогда за всю войну она не чувствовала так свою беззащитность, как теперь. Не понимала и удивлялась, почему ей пришло в голову отвезти ребенка. Сколько раз ходила в деревни, однажды дней пять бродила и ни разу не отводила дочку к брату, оставляла с Марилей. Почему сегодня захотелось обязательно отвезти? Само такое решение пугало, но преодолеть себя не могла. Повезла. Нужно было спешить, чтобы под вечер быть дома — принесут гранаты.

Все прошло хорошо. Даже распрощалась со Светкой без душевного надрыва. Девочка быстро подружилась с пятилетней двоюродной сестрой, и это Ольгу порадовало. Сама она с Галей, женой брата, дружила, еще будучи школьницей, особенно в первый год Казимировой женитьбы. Но потом мать невзлюбила

невестку, завелись, переругались, она, конечно, стала на сторону матери, хотя никогда не чувствовала к Гале особенной неприязни, на брата больше обижалась.

Невестка неохотно приняла чужого, как она сказала, ребенка. Она явно хотела поссориться — отомстить за давние обиды. Но случилось удивительное: ее недовольство нисколько не тронуло Ольгу, не разозлило, наоборот, как-то взбудоражило, развеселило и даже вернуло прежнюю симпатию к ней.

Галя сказала:

— Все мечешься? Все торгуешь? Все тебе мало? Люди умирают, а ты богатеешь. Ох, ненасытное у вас нутро, проклятые Леновичи! Свернете вы головы, оставите детей сиротами!

Била не столько по ней, по Ольге, сколько по ее прошлому и по своему мужу, который пошел на службу к гитлеровцам. И это Ольге понравилось. Она засмеялась и поцеловала удивленную Галю. Домой вернулась в хорошем настроении. И остаток дня думала и волновалась только об одном: когда принесут гранаты?

Их принес уже в сумерки юноша в полицейской форме, которого Ольга не успела даже рассмотреть.

Сказал пароль, передал из рук в руки в темной кухне тяжелый бачок и сразу нырнул за дверь, будто боялся быть узнанным.

Ольга открыла крышку тяжелого четырехгранного ведра и поморщилась — полно вонючего мазута.

Хотя гранаты были завернуты в парусину, но мазут все равно просочился, и Ольга очень аккуратно и осторожно, как большие ценности, протерла их чистыми тряпочками, завернула каждую отдельно — в платки, сорочки, кофточки, две сунула в туфли, несколько штук — в мешок с солью. Не пожалела и тех вещей, которые никогда не думала обменивать.

Упаковала все в мешок так, чтобы никто, ни Друтька, ни постовые немцы, не могли нащупать твердые предметы. Весь мешок мягкий.

Одну гранату оставила. Попрактиковалась вставлять запал, раза два замахнулась — училась бросать. Потом сама усмехнулась такой забаве, — как мальчик, играет с оружием, как Костя Боровский. Вспомнила Костю — очень захотелось увидеться с Леной. Но не пошла, упрекнула себя: что это с ней, — будто проститься хочется?

Гранату, заряженную, с запалом, положила в кровать, под подушку. Но все же лечь так побоялась, переложила гранату в ящик туалетного столика, под ворох белья, подальше от себя...

Проснулась, зажгла спичку, посмотрела на будильник, удивилась — утро! Давно уже не спала так спокойно и крепко, часов семь не просыпаясь.

Протопила плиту, нажарила, не жалея, сала, чтобы хватило позавтракать и взять в дорогу на двоих.

## XII

Друтька приехал точно на рассвете. Вошел в дом, как пьяный хозяин, с грохотом открыл двери, никогда таким смелым, шумным и веселым не появлялся. С порога спросил:

— Готова?

— Готова. Завтракал?

— Завтракал. — Но, увидев на плите сковородку с салом, потянув аппетитный запах, поправился: — Да какой там завтрак! Холостяцкий. Хлеб и консервы. Эрзац.

— Так садись, позавтракай хорошенько. Дорога-то не близкая.

— Как бы там с саней ничего не стянули.

— Я пригляну.

Ольга быстренько подала на стол огурцы, капусту, хлеб, поставила сковородку с салом. Выпить не дала: пьяный Друтька может слишком осмелеть, станет приставать, а ей никак нельзя ссориться с ним. Он выразительно посмотрел на хозяйку, но она сделала вид, что ничего не понимает, схватила кожух и быстро выскочила на улицу — сторожить его добро на санях.

Конь стоял, привязанный вожжами за верею ворот.

Она полюбовалась конем. Гладкий гнедой богатырь, не из тех немецких тяжеловозов, которые могут везти по две тонны, но которых не заставишь побежать трусцой. Этот и повезти немало может, и побежит быстро. Видимо, молодой; в лошадях Ольга не особенно разбиралась, однако знала, что только молодой выездной конь может так красиво выгнуть шею и так стричь ушами. На нее, чертяка, посматривает недобро. Она провела ладонью по его боку, конь вздрогнул и, кажется, довольно фыркнул.

«Ты послужишь партизанам», — подумала Ольга. Конь ударил копытом в обледенелый дощатый тротуар с такой силой, что, наверное, рассек доски, льдинки полетели на Ольгу.

— Успокойся, глупый, — сказала она. — Будешь служить, кому скажут.

На коне была замысловатая сбруя, ременная, украшенная бляхами и звоночками, которые, однако, не звенели.

«В почете у своего начальника Друтька», — подумала Ольга, желая настроить себя определенным образом: ее смущало и даже пугало, что у нее все еще нет к полицаю такой ненависти, чтобы захотелось убить его, хотя и поверила всему, что рассказал об этой продажной шкуре Олесь.

Сбруя, безусловно, была немецкая, а сани наши, белорусские, березовые, не новые, но крепкие, только задок новый и выкрашен в нелепый цвет — в черный; ни один наш человек, подумала Ольга, не стал бы красить такую вещь в черное, только немцы могут. Всплыло воспоминание далекого детства: в санях, на которых отвозили покойников на кладбище, тоже что-то было покрашено в черное — не то оглобли, не то полозья, она хорошо не помнила. От этого воспоминания сделалось как-то неуютно; в последнее время она перестала верить во многие приметы, но все равно ее набожное комаровское воспитание сказывалось.

Вещи на санях были накрыты большим кожухом. Ольга приподняла его и увидела швейную машину, разобранный велосипед и целых три мешка, мягкие, с одеждой, конечно.

— Натаскал, паразит, — сказала вслух Ольга все с той же целью — настроить себя.

Конь, наверное, почувствовал, что перед ним свой человек, который ничего не возьмет с воза, и фыркнул миролюбиво, спокойно.

Ольга похлопала его по загривку; с конем нужно подружиться, он должен стать ее помощником.

Почувствовала, что замерзает. Удивилась: так одета! Одевалась в самом деле не для похода с мешком за плечами, а для поездки в санях. Натянула старые лыжные штаны, которые после родов были ей тесны, а теперь ничего — выбегалась, похудела, надела шерстяную кофточку, Адасев летник, подвязала его ремнем, поверх всего — старый материнский кожух, замызганный сверху, но с густой шерстью, теплый. Холодно, наверное, потому, что от плиты разгорячилась. Да и промозгло на дворе, вчера была оттепель, капало с крыш, ночью чуть подморозило, и город окутан густым туманом, от которого даже тяжело дышать.

Не сообразила, что и зябко, и дышится тяжело от

волнения.

Вернулась в дом. Друтька вымазывал хлебом сковородку. Рожа его блестела от жира. А настроение еще более поднялось.

— Вот это заправился!

— Шапку хотя бы снял, безбожник!

Ольга вынесла из «зала» свой мешок, старалась нести легко. Друтька подхватил помочь. Поднял мешок — удивился:

— Тяжелый какой! Что ты натоптала в него?

— Бомбу положила, — сказала Ольга без улыбки. — Как думаешь, на бомбу найдутся охотники?

Полицай захохотал.

— Найдутся! Там теперь все купят. Позавчера двое танк украли с завода. Немцы самолеты подняли, разбомбили где-то в лесу за Боровлянами этот танк. Что себе люди думают? Куда они гнали этот танк? В голове не укладывается. Чокнутые какие-то.

Ольга вышла следом за ним, проследила, как он примостил в санях ее мешок. Потом быстро вошла в дом, в свою спальню, достала из ящика гранату, потрогала чеку — хорошо ли держится? — засунула гранату за пазуху, под левую грудь.

Села в сани на мешок с сеном, с левой стороны, чтобы на ухабе не прижаться к Друтьке гранатой, повернулась к дому и трижды перекрестилась.

Друтька, отвязывая вожжи, увидел это и не улыбнулся, сам, направив коня на дорогу, с серьезным видом размашисто и медленно осенил себя крестом.

Прошелся шагов с полсотни рядом с санями, потом стегнул коня вожжами, и, когда тот, фыркнув, побежал, вскочил в сани, толкнув Ольгу так, что она пошатнулась

и прижалась гранатой к перекладинам решетки, даже заболело в боку, испугалась очень: от таких толчков и взорваться можно!

— Чуть из саней не выбил, медведь!

— Ничего, не стеклянная, не разобьешься.

Ольге не понравилось, что, не успев отъехать, он заговорил с ней, как с опостылевшей женой, и, может, впервые в ней зашевелилась та ненависть к полицаю, которой не хватало.

На комаровских улицах было еще пусто, изредка попадался пешеход, спешивший на работу на завод или в немецкое учреждение. Но на Советской было уже довольно людно, шло и ехало немало немцев. Они шли по-хозяйски, не спеша, но с необычайной немецкой пунктуальностью: по каждому из них хоть часы проверяй на любом перекрестке. Изредка проезжали легковые автомашины с высшими оккупационными чинами. Из-за машин Друтька прижимал возок к самому тротуару. Проехать по центральной улице, чтобы потом пересечь ее, нужно было всего метров триста, не больше.

Ехали медленно, с молчаливой настороженностью, будто разговаривать здесь считалось непристойным. Видимо, Друтька, зная нрав своих хозяев, боялся их. И не случайно. Вдруг немец в офицерской шинели, с портфелем, властно поднял руку.

Друтька натянул вожжи и сразу полез за документами.

— Я имею документ, герр офицер. Я ист полициянт. Полицист. Их ист аусвайс.

«И это конец? — подумала Ольга без особенного страха, но с горькой иронией и со злостью на себя. — Не проехали и версты — и конец всему твоему плану».

О том, чтобы использовать свое оружие тут, на улице, и не подумала. Влипла по-глупому, безмозглая баба. Разве что мелькнуло маленькое, как далекий огонек,

утешение: Друтьке тоже не отвертеться от кары за ее гранаты, она все свалит на него.

Немца не интересовали Друтькины документы. Даже не посмотрел на них. Поднял черный кожух, которым Друтька накрыл мешки. Ольге показалось — немец знает, что у нее в мешке.

«Неужели предательство?» — с ужасом подумала Ольга, вспомнив юношу в полицейской форме, который принес гранаты; самое страшное, если предал тот, кому доверился Захар Петрович.

Нет, немец мешки не трогал, и Ольга сообразила, что страх ее напрасный: странно было бы, если б, зная, что в мешке, он один, даже не достав револьвера, проводил такую операцию.

Офицер аккуратно сложил кожух, вскинул на ту руку, в которой держал портфель, и, погрозив Пальцем Друтьке, сказал целую речь. По тону и жестам Ольга почти все поняла: немец не ругал, спокойно и покровительственно стыдил полицая, что в то время, как великая армия фюрера замерзает в русских снегах, и они, немцы, объявили сбор теплых вещей, он, служащий нового порядка, таким теплым ледермантель (слово это повторил несколько раз) накрывает мешки. Как можно! Это же издевательство над своими благодетелями. Так, во всяком случае, Ольга перевела последнюю фразу, и ей стало почти смешно, что не она влипла — Друтька влип, получил от хозяина выговор.

Она сказала:

— Данке, пан офицер, данке.

— О, фрау ферштанден! Гут, гут. Фрау клюгер копф, — хвалил он и внимательно присматривался к ее кожушку.

Ольга снова растерялась. Сдерет кожух. Кожушка ей не жаль, но вылезет, как скула, граната под пиджаком. Нет, ее облезший, замызганный кожух господину

офицеру не показался, он снова похвалил ее и снова выговорил Друтьке за его несознательность. И пошел с портфелем и кожухом.

Друтька дрожащими руками спрятал свои удостоверения, аусвайсы, круто и зло повернул коня и въехал в первый переулок около католического кладбища, чтобы и сотню метров, что остались до Долгобродской, не ехать по опасной Гитлерштрассе.

Полицай понуро молчал, только шумно сопел, будто ему заложило нос. Ругать немца не отважился, даже наедине с Ольгой и в безлюдном переулке, но в душе, конечно, кипел.

Ольга видела это и тоже молчала. Да и не до Друтьки ей было, не до его переживаний. Происшествие это впервые заставило подумать, что не то она делает, не так и очень может быть — не добьется своей цели. Не имела она права принимать такое важное решение сама.

Друтька не выдержал, укорил:

— Легко благодарить за чужой кожух.

— А ты ждал, когда он полезет в мешки? — зло спросила Ольга. — Небось там у тебя дороже кожуха.

— Кожух такой тоже не валяется на дороге.

— Для него твой кожух все равно что на дороге лежал.

— Им тоже не разрешают так...

— Вернемся — пожалуешься.

— На кого? — хмыкнул Друтька.

— И кому?! — со злостью уколола она.

Это, очевидно, испугало полицая, он искоса глянул на попутчицу и дал отступного.

— А, черт с ним, с кожухом! Не в нем счастье. Чего не

случается на войне. А немцы — они тоже разные. И добрые. И скупые, жадные... Как и все мы. Ты же про свой мешок в первую очередь подумала, потому и спешила быстрей откупиться моим кожухом.

Ольга слушала его невнимательно, она думала о своем.

Когда проезжали недалеко от дома Захара Петровича, у нее больно сжалось сердце. Как она могла не сказать всей правды такому человеку? Никогда не переживала так, когда кого-то обманывала, с матерью, случалось, хитрила — и ничего, совесть не мучила. Но там были мелочи. Тут же жизнь поставлена на карту. А жизнь ее теперь нужна не только ей и маленькой Светке. Осознание своей нужности людям — да каким людям! — Родине (когда-то туманное для нее понимание родины теперь расширилось, прояснилось и вместе с тем стало очень конкретным, как самое близкое, дорогое вошло в сознание, в сердце всем тем своим смыслом, о котором не однажды говорил Саша), это осознание наполнило жизнь непривычной, трепетной и волнующей радостью, поэтому еще сильнее хотелось жить — по-новому жить.

Как маленькой девочке, захотелось чуда: чтобы Захар Петрович как добрый волшебник, встретил вон за тем домом, остановил коня, ссадил ее с саней, забрал мешок. Потом пусть бы хорошенько выругал, ремнем отстегал — она с благодарностью поцеловала бы его руки.

Ольга боялась контрольного поста в Красном Урочище, там караульные уже заглядывали в ее мешок, когда она возвращалась из Руденска, пришлось откупиться куском сала и бутылкой самогонки. Напрасно она понадеялась на Друтьку, напрасно боялась, как бы он сам не выпил и не начал приставать, нужно было захватить шнапс, который и покупался для такой цели — для очередного похода за город.

Из бункера, над которым поднимался прозрачный дымок — сухими дровами топили, — вышли немец и полицай.

Ольга растерялась, засунула руки под кожух, потрогала гранату, хотя не была уверена, что сможет в случае чего использовать свое оружие. Как? Куда бросить? И что это даст? Куда после этого деться самой?

Но Друтька, который после происшествия с кожухом сидел как на поминках, вдруг весело зашевелился, натягивая вожжи, подался вперед, стал коленями на мешок и еще шагов за сорок до шлагбаума закричал:

— Здорово, Левон!

— Хайль, Федор! — ответил караульный полициант.

Немец безразлично направился обратно к бункеру, поеживаясь от холода.

— Куда? — спросил Друтьку знакомый.

— К своим. Вот! Невесту показать хочу.

— Женишься? Ну, даешь, Федька! Не теряешься нигде! — Подошел к саням, заглянул Ольге в лицо, похвалил: — С морды ничего баба!.. Постой! Да я же ее знаю! Торговка! По себе, Федька, выбрал.

Это последнее замечание оскорбило Ольгу, но она смолчала: не стоит задираться, да и остроумие ее будто застыло от мороза. Полицай засмеялся, пожелал счастливой дороги, поднял шлагбаум и вслед крикнул соленый мужской совет.

Друтька, как будто пристыженный, несколько минут молчал. Соскочил с саней, нокая, быстро прошелся сбоку, поскользнулся, повалился на сани, головой Ольге на подол, даже задрыгал в воздухе ногами, испугал коня, тот рванул галопом.

— Тпру-у, холера! А то выбросишь из саней.

Чувствовалось, что у Друтьки сразу же поднялось настроение, после поста он почувствовал себя увереннее, повеселел, ему хотелось пошалить, посмеяться, на словах придерживал коня, а на самом

деле подгонял его — дергал за вожжи, дрыгал ногами, хохотал.

Потом, когда их обогнал грузовик, опомнился, сел на прежнее место, рядом с Ольгой, сделался серьезным, несмело обнял ее за плечи.

Ольга вздрогнула, растерялась, ей показалось, что к ней потянулась рука мертвеца. Почувствовала отвращение от Друтькиной близости, от пара, который он выдыхал.

— А знаешь, Ольга, я не шутки ради сказал про женитьбу. Я действительно хочу жениться. И ты нравишься мне. Выходи за меня замуж. Мне теперь вот как нужна такая жена, как ты! Чтоб такая хозяйка была.

«Не знаешь ты, какая невеста тебя ждет», — подумала Ольга с ненавистью и с каким-то брезгливым страхом, совсем незнакомым, — наверное, от такой тесной связи с осужденным.

Сказала с упреком:

— Что это ты несешь, Федор? У меня муж на фронте.

— Не вернется твой фронтовик. Разве что не будет дураком да перейдет к немцам. Если сам сдастся, отпустят.

С большей печалью, чем раньше, с болью и даже с чувством своей вины перед ним, что случалось редко, Ольга подумала о муже, но тут же порадовалась своей уверенности: Адась никогда не сдастся в плен, не предаст, не опозорит свое имя.

«Он вернется! А вот ты не вернешься!» — подумала уже только с ненавистью к Друтьке. А тот, не жалея красок, рисовал, как бы они жили, поженившись.

Ольга слушала одним ухом. Она думала о своем плане. Еще вчера вечером, когда обдумывала все до мелочей, план этот казался безупречным.

Она боялась, чтобы приговор Друтьке исполнил Саша, может, потому, что он сам признался, как трудно ему убить знакомого человека. Понимала, насколько увеличивается риск, если нет уверенности, — для Саши это может кончиться провалом, смертью. Тогда же, в ту ночь, решила помочь ему, хотя он и возражал, решила взять на себя его задание. Долго думала, как осуществить приговор. Чувствовала, что сама не сможет сделать это. И надумала: через Сивца сдать Друтьку партизанам, пусть они покарают его; там, в лесу, это действительно будет кара, по всем законам, а не убийство из-за угла. Это честно и, казалось, просто. Сивец подтвердит. Ее могут упрекнуть, поругать за анархизм, как называет это Захар Петрович, но не перестанут доверять. А в анархизме старый подпольщик упрекал даже Андрея, которого она считала командиром всей группы.

Почему же вдруг только сегодня, когда отъехали уже порядочно, появилось сомнение, что она делает не то, что нужно? Смутил случай с кожухом? Нет, при чем тут кожух?

Она думала, как отнесется к ее замыслу Сивец. Немолодой уже человек. Жена. Дочь. Соседи рядом. Гарнизона, правда, в селе нет, но все же... Захочет ли Сивец браться за такое дело — сдать полицая партизанам? Скорее всего нет.

Друтька спешит, — рассчитывает, конечно, к ночи доехать до своего Червенского района, день уже не короткий, конец февраля. Переночевать у Сивца она его уговорит. Но близко ли партизаны, чтобы Сивец мог успеть за ночь привести их? Да еще неизвестно, как сами партизаны отнесутся к этому. Могут сказать: «Вы там, в городе, осудили — вы и карайте». Кому это хочется брать на себя расстрел человека? Она же не захотела, чтобы это сделал Саша. И Саша мучился от такого задания.

Успокаивала себя: если не выйдет, как задумала, ничего страшного не случится, от кары Друтька не спасется, ведь вернутся же они назад, в Минск, через

какие-то три дня... И поездка будет не напрасной — партизаны получат гранаты. А когда вернутся, она придумает что-то другое. Нет, тогда она во всем признается Захару Петровичу, посоветуется с ним. Напрасно побоялась, что он помешает осуществить ее замысел: старый, опытный, рассудительный человек понял бы ее, понял бы Сашу и обязательно что-то придумал бы, — может, одобрил бы ее план или, скорее всего, добавил бы к нему такое, что уберегло бы ее от ошибки. Дал же разрешение, чтобы она заехала к Сивцу с полицаем, завезла гранаты.

А если все произойдет по ее плану, она еще перед деревенской полицией поднимет гвалт: остановили на дороге бандиты, забрали и коня, и Федора Друтьку. Ищите! Спасайте! Помогайте! Пусть ищут ветра в поле.

Пересекли Могилевское шоссе, повернули на Новый Двор. Ехали по полю. Туман не рассеивался, и все вокруг окутывала белая мгла. Проклятый туман, в нем человек замерзает хуже, чем в самый сильный мороз. Ольге в кожухе было холодно. А Друтька остался в одной шинели. Не выдержал, выругал все же немца:

— Забрал кожух, чтобы его холера взяла! Тыловая крыса, зараза, интендант паршивый! У кого ты конфискуешь теплые вещи? У своих? По-человечески сказал бы — я тебе воз насобираю этих кожухов.

Друтька передал Ольге вожжи, соскочил с саней.

— Ты погони, а я пробегусь, а то до костей проняло.

Пробежался, взвалился на сани, сильно запыхавшись, снова упал на ее ноги, поднял полу кожуха.

— Погрела бы ты меня.

— Где? На снегу? Отморозишь последнее, что имеешь. Потерпи до теплой постели. До мягкой постельки...

Шутила, а зубы стучали от гадливости и страха. Нежности и шутки со смертником! Грех, наверное?

В третий или четвертый раз Друтька бежал за санями, когда ехали по лесу. По обе стороны дороги стояли сосны, под ними сиротливо гнулась лещина. У Ольги вдруг мелькнула мысль: стать на колени и швырнуть навстречу полицаю, когда он будет догонять, «игрушку» — на, лови, пошутим последний раз. Так просто... Оглянулась. Друтька отстал далеко. Сбросила варежки, вытянула из-за пазухи гранату — она была теплая, будто в середине ее грел смертельный огонь. Испугал ее этот огонь. А если взорвутся и те, что в мешке? Быстренько спрятала гранату. Но упрекнула себя: «Трусиха, чистыми руками хочешь воевать, чтобы грязную работу другие делали!»

За Королищевичами дорога вывела к железнодорожному переезду. Нужно было пересечь «железку». Переезд не охранялся, шлагбаумов не было, но проходил он возле самой будки путевого обходчика, вдоль забора и глухой стены стандартного красного здания. Снег на насыпи сошел, на железной дороге раньше, чем везде, чувствовался приход весны. От притянутого полозьями песка растаял снег и на въезде.

Друтька, заботливый хозяин, соскочил с саней, чтобы облегчить коню въезд на насыпь. Ольга тоже пожалела коня, удивились себе: такая непоседа, юла, она за столько часов ни разу не слезла с саней, действительно как та баба из басни, уже и ноги онемели. Да и конь остановился перед песчаной дорогой, давая понять, что ему действительно тяжело, давно взмок, клочья пены падали из-под сбруи.

Ольга выбралась из саней. На путях остановилась, посмотрела на блестящие рельсы, которые убегали в неизвестную даль. Как каждого человека, мало ездившего, ее привлекала эта даль, с детства казалось: там, где кончаются рельсы, начинается новая страна, где люди живут совсем иной жизнью.

Друтька выпустил вожжи и подождал ее за переездом.

— Далеко еще до твоего дядьки?

— Нет, недалеко. Вот проедем Михановичи, потом Бордиловку, а затем повернем на Пережир.

— Ничего себе недалеко!

— Не ты же сани тянешь. Конь. А вожжами я больше крутила, чем ты. И нисколько не устала. Хочешь, станцую?

— Ты бы иначе повеселила.

— Дорогой платы ты захотел.

— Я? Платы? От тебя? Наоборот. Я тебя хочу озолотить. Я же, как видишь, хочу по-хорошему. Сватаюсь по всем законам.

В путевой будке хлопнули двери, и высокий молодой голос скомандовал:

— Эй, вы, стойте!

Они повернулись. К ним шли двое: один в форме немецкого солдата, без оружия, другой, высокий и худой, в круглых очках, в цивильном — в длинном черном пальто, в серой каракулевой шапке-столбуне, делавшей его еще выше; очкарик этот на две головы возвышался над солдатом.

Друтька ступил им навстречу. Но длинный зло крикнул:

— Коня останови, раззява!

Ольга не испугалась, первая послушно бросилась догонять коня.

Конь прошел от железной дороги шагов сто. Она боялась кричать «тпру», чтобы конь не побежал, — такое иногда случается. Но этот, ученый, услышал, что за ним бегут, и остановился сам.

Ольга стояла у саней и смотрела, как они подходят, охранники и ее спутник.

Друтька снизу вверх заглядывал под очки и что-то

горячо доказывал. Достал свои бумаги, протянул немцу, но тот передал их переводчику. Слышно было, как длинный своим тоненьким, будто девичьим, голоском бойко лопотал по-немецки — переводил.

Они приблизились. У переводчика не только голос, но и лицо было точно девичье, детское. Несмотря на такой неимоверный рост, это был еще мальчик, лет, наверное, семнадцати. Но у него нехорошо, очень зло, кривились губы и пальцы сжимались в кулаки, будто он с трудом сдерживал себя, чтобы не ткнуть Друтьке кулаком в лицо.

Друтька возмутился:

— Своим не верите? Таким документам! Ты посмотри, кем подписано мое удостоверение!

— Если ты полицейский, то знаешь, что документы у бандитов всегда в порядке, — уже более примирительно сказал юнец и услужливо перевел немцу свои слова.

Тот одобрил:

— О, яволь.

Ольга подумала: «Где это ты, поганец, так по-немецки выучился? Вытянулся, будто черт за уши тянул! Каланча! Может, помочь Федору?»

Нет, не хотелось ей почему-то ни просить, ни доказывать ничего, ни тем более улыбаться или шутить — пускать в ход свои чары. Она то ли не чувствовала еще опасности, то ли верила, что ее можно избежать.

Немец, пройдя к коню, почему-то внимательно осмотрел хомут, потрогал подхомутник. Переводчик поднял мешок с сеном, на котором они сидели, и как-то брезгливо-пренебрежительно выбросил его из саней, отчего Друтька даже побелел. Но Ольгу это мало тронуло.

Немец обошел вокруг коня и направился к ней. Она отступила шага три с дороги в снег, подумав: не хочет

ли он обыскать ее? Нет, немец показал пальцами на мешки и швейную машинку.

— Что в мешках? — спросил очкарик.

— Я же тебе сказал, что в мешках. Барахло. Едем к своим, чтобы пожениться. — Друтька попробовал улыбнуться. — Нужны же подарки.

— Развяжи.

— Так тебе хочется потрясти мои мешки? Эх ты! Антилигентный парень! Своему не веришь.

Переводчик покраснел, и губы его скривились уже не зло, а как-то обиженно.

— Он ножом сейчас попорет твои мешки. Тогда узнаешь... Не ломайся.

Немец удивился, что последних слов переводчик не перевел, и терпеливо ждал, а тот начал что-то говорить, но Ольга поняла: не то переводит.

Друтька решительно вскочил на сани, будто намеревался говорить речь.

— Какой развязывать?

— Любой.

«Если он начнет развязывать мой мешок, я брошу гранату», — подумала Ольга без страха, так спокойно, что удивилась сама, только одно немного обеспокоило: «Куда ее лучше бросить?»

Решила — в сани, под ноги Друтьке. Для размаха еще отступила. О том, куда спрятаться самой, не думала.

Друтька схватил свой мешок, зубами развязал узел на веревке, потому что пальцы не гнулись — от холода или от волнения. Перевернул мешок и зло вытряс все, что было в нем, на сани.

На миг Ольга даже забыла о гранате ошеломленная. Из

мешка высыпались детские штанишки, рубашечки, кофточки, чулочки, туфельки, много туфелек, пар, может, двадцать, самых разных — белых, красных, черных, со стоптанными каблучками, облупленными носочками...

— Ну вот, видишь что тут. Жидовские лохмотья. Эршисен юдэ. Пух-пух юдэ, — объяснял Друтька сам немцу. — Юденятам на том свете они не нужны.

Ольгу будто ожгло страшным огнем: «Ах ты, гад! Что же это ты творил, собака! Какая же кара нужна за это!»

Парень перевел слова Друтьки, и немец засмеялся. Он, с кем она только что сидела рядом в санях, тоже оскалил зубы. И глиста эта, кобра очкастая, сопляк, захихикал льстиво, гаденько.

«Над чем они смеются? Над смертью детей?.. Они смеются над смертью детей?».

И перед глазами встала ее Светка, убитая этими... ее маленькие валеночки, в которых она отвезла ее к брату. Там, на санях, в куче обуви такие же валеночки, только одна пара. Плач детей зазвенел в ушах. Но в этом страшном хоре она отчетливо слышала голос своего ребенка.

Стало страшно, что не осуществит она свой план. Сколько надо еще ждать, пока Сивец сдаст е г о партизанам! Да и сдаст ли? Разве может она ехать с н и м дальше, сидеть в одних санях?! А эти? Эти останутся тут? Нет! Карать их надо сразу! Всех!

Не было уже силы, которая остановила бы ее. Не оставалось времени на рассуждения, что будет с ней. Куда спрятать голову, как учил Захар Петрович?

Она выхватила гранату из-за пазухи. Подняла над головой. Хрипло крикнула:

— А ну, гады!

Тогда они обратили на нее внимание. Первым увидел

гранату немец и сразу упал за сани. Побелевший очкарик закрыл лицо ладонями, будто главная его забота — прикрыть свои больные глаза. А Друтька застыл на санях с раскрытым ртом, с растопыренными руками, смотрел на нее, силился улыбнуться, — может, не сразу сообразил, что над ним нависла смерть, может, думал, что женщина шутит.

Ольга не швырнула гранату ему под ноги. Сорвав кольцо, она наклонилась и будто закатила гранату под сани.

Увидела, как подбросило в воздух сани и как еще выше, будто циркач на сетке, подскочил Друтька. А конь рванул с места. Ольга даже успела подумать: хорошо, что коня не зацепило, на коне она быстрее удерет отсюда.

В лицо ей ударил не огонь, не горячий воздух, а ледяные брызги, снежный вихрь. От удара в грудь чем-то твердым и тяжелым она упала в снег и, наверное, на короткое время потеряла сознание. Пришла в себя — услышала шум, будто гудел в грозу бор или шел поезд. И еще услышала далекое ржанье. Подняла голову и увидела, что совсем близко от нее, голова к голове, неподвижно лежат Друтька и длинный переводчик. И Ольга почти успокоенно подумала, что все хорошо, она сама исполнила приговор, она покарала их… Не нужно будет просить Сивца. Теперь ни Командир, ни Захар Петрович не упрекнут ее… Все хорошо… Только нужно догнать коня… Где он там ржет?.. Едва повернула голову. Конь без саней, но с оглоблями, окутанный огненно-красным паром, судорожно бился в снегу сбоку от дороги. Снег вокруг него дымился. Или это красный туман в ее глазах? Не кровь ли заливает глаза? Она провела рукой по лицу. Крови не было. И это очень порадовало — лицо ей не посекло. И она все видит — столбы, ельник вдоль насыпи, небо… Все обычное. Почему же такой туман над конем? Коня стало жаль. Как жалобно он ржет…

— Я помогу тебе, коник. Я помогу…

Она собрала последние силы и попробовала встать. Но тогда не только пар над конем — серое, облачное небо сделалось кроваво-красным и вдруг обрушилось — все огромное небо — на нее одну...

# Послесловие

## Художник современности

Известно, что Иван Шамякин — один из наиболее читаемых белорусских писателей, и не только в республике, но и далеко за ее пределами. Каждое издание его произведений, молниеносно исчезающее из книжных магазинов, — практическое подтверждение этой, уже установившейся популярности. Шамякин привлекает аудиторию самого разного возраста, мироощущения, вкуса. Видимо, что-то есть в его творчестве, близкое и необходимое не отдельным личностям, или определенным общественным слоям: рабочим, интеллигенции и т. д., а человеческому множеству. И, видимо, это «что-то» и есть как раз то, что не разъединяет людей, а объединяет их. Не убоявшись показаться банальной, осмелюсь назвать это «нечто» художественными поисками истины. Качество, безусловно, старое, как мир, но и вечно молодое, неповторимое.

Широко распространено мнение о том, что Иван Шамякин — писатель, которого влекут не установившиеся явления, а жизнь, еще полная брожений, проблемы, только наметившиеся в действительности и настоятельно требующие разрешения. Для того чтобы увидеть жизнь в ее каждодневных изменениях, в ее становлении и движении, нужна особая художественная зоркость писателя-гражданина, максимальная ясность общественной и нравственной позиции, осознанность эстетического идеала. Лучшие книги Ивана Шамякина свидетельствуют о гармоничном сопряжении в его

творчестве острой публицистичности и психологической достоверности.

Творчество писателя отличается глубокой проблемностью, постановкой вопросов поистине государственного значения, которые не могут оставить нейтральными ни одного социально мыслящего человека. НТР и индивидуальный творческий процесс, природа и человек, судьба сельского хозяйства в технический век, принципы партийного руководства, социалистическая мораль, мера мужества человека на войне и в мирное время — вот далеко не полный круг проблем, художественно исследуемых писателем.

Иван Петрович Шамякин родился 30 января 1921 года в семье крестьянина-лесника на Гомельщине. В 1940 году окончил техникум строительных материалов в Гомеле и был призван в армию, в зенитные войска. Война застала его на Севере, в районе Мурманска. После войны работал сельским учителем на Гомельщине, руководил территориальной партийной организацией. Это дало ему возможность глубоко и детально изучить жизнь белорусской деревни. Писать И. Шамякин начал еще до войны. Но окончательно сформировали его как писателя школа войны и опыт трудных послевоенных лет.

Шамякин современен в лучшем смысле этого слова. Используя известное изречение Достоевского, можно сказать, что он буквально «одержим тоской по текущему». По горячим следам войны написан роман «Глубокое течение» (1948), удостоенный в 1951 году Государственной премии СССР; тогда же, в 40—50-е годы, создан цикл партизанских повестей «Тревожное счастье»; в 1956 году выходит роман «Криницы», где на животрепещущем материале современности раскрыты остроконфликтные ситуации белорусской деревни середины 50-х годов; 1963 и 1970 годы отмечены появлением романов «Сердце на ладони» и «Снежные зимы», в центре которых — проблемы нравственные, где такие качества, как честность, принципиальность, гражданское мужество, выверяются по самым высоким

критериям — критериям народной войны против фашизма.

Следует отметить, что даже тогда, когда Шамякин пишет о войне с определенной исторической дистанции, как, например, в самых последних повестях — «Брачная ночь» (1975), «Торговка и поэт» (1976), — он старается максимально приблизить ее к читателю, как бы напоминая, что это тяжкое время бесследно не прошло и не может уйти в небытие. Да и как иначе может писать человек, сам прошедший войну до последнего победного ее часа!

Иван Шамякин одинаково плодотворно работает как в малых жанрах, так и в крупной эпической форме. Свидетельством этому — составившие данное издание роман «Атланты и кариатиды» (1974) и повесть «Торговка и поэт» (1976).

Герой романа «Атланты и кариатиды» Максим Карнач — по профессии архитектор. Пожалуй, архитектура — именно та сфера современной действительности, где наиболее остро проявилось реальное противоречие, которое существует между принципом утилитарной пользы и принципом красоты. В романе это противоречие предстает перед читателем в конфликте между Карначом, отвергающим проект «посадки» химического комплекса близ города, и защитниками экономической выгодности крупного промышленного предприятия для развития областного центра. Максим Карнач, как сейчас принято говорить, «деловой человек». Но он, не в пример другим «деловым» героям, лишен утилитаризма, он мыслит широко, перспективно, умеет жить будущим, а не только настоящим днем. Карнач решительно выступает против «бога, имя которому — экономия», «бога мудро созданного людьми, но, как многие боги, превращенного в идола — в закостенелый эталон во всех сферах деятельности». Казалось бы, сугубо градостроительная, узко профессиональная проблема решается писателем и как эстетическая и — главное — как проблема духовная.

Максим Карнач, на мой взгляд, наиболее яркий,

полнокровный и привлекательный из героев Ивана Шамякина. Нет, это отнюдь не «розовый» характер, идеальным героем его не назовешь. Но все его недостатки, ошибки искупаются полнотой жизни, заключенной в этом человеке, обаянием незаурядной, талантливой личности. Роман «Атланты и кариатиды» довольно густо заселен, но эта «густота» не превращается в пестроту безликих персонажей. Столкновение с богатой, многогранной натурой главного героя высекает из каждого персонажа романа искру его своеобразия, индивидуального отличия. Совсем немного страниц уделено Прабабкиным, но как колоритны их образы!

В связи с образом Максима Карнача в «Атлантах и кариатидах» возникает очень важная и интересная проблема — проблема талантливой, творческой личности, ее взаимоотношений с окружающим миром. Эта проблема разрешается Иваном Шамякиным не только в этической плоскости, но и в социальной. Экономически развитое общество с высоким материальным уровнем таит в себе опасность возникновения у некоторой части его населения потребительской психологии. Ее признаки многообразны, но главным является отсутствие самоконтроля совести, стремление прожить за чужой счет (неважно, духовно или материально). В одном из разговоров Максим Карнач с иронией замечает, что деньги всегда можно найти, но всегда ли можно найти при помощи денег (или связей, или приспособленчества — автор этого прямо не говорит, но это вытекает из контекста) новое в архитектуре? Мысль эта, конечно же, не нова, однако время от времени ее надо повторять, чтобы человечество не забывало об этом. В свое время она прозвучала в статье Д. И. Писарева о Базарове. «Карьеры, пробитые собственною головою, всегда прочнее и шире карьер, проложенных низкими поклонами или заступничеством важного дядюшки, — писал критик. — Благодаря двум последним средствам можно попасть в губернские или столичные тузы,, но по милости этих средств никому, с тех пор как мир стоит, не удавалось сделаться ни Вашингтоном, ни

Гарибальди, ни Коперником, ни Генрихом Гейне».

Эта мысль и получила художественное развитие в романе Ивана Шамякина. Секретарь горкома Игнатович спешит убрать Максима Карнача с поста главного архитектора города, не понимая, что и вне этого поста Карнач останется самим собой, потому что нельзя снять его с поста таланта, с поста партийной принципиальности. Не то же ли самое происходит и с Антонюком в «Снежных зимах»? Освобожденный от высокой должности, он не освобожден от своей совести, от долга перед партией, народом. И ведь не он, персональный пенсионер, человек «не у дел», боится Будыгу, директора крупнейшего института, а Будыга боится его, ибо его положение, его социальный статут завоеваны не столько личными достоинствами, сколько обходными, окольными путями.

Максим Карнач не боится ничего и никого, истоки его гражданского мужества не в идеализме или жизненной неопытности, а в осознании нужности своей личности, своего таланта обществу. Бездарный Макоед, успешно подсиживающий главного архитектора, даже в момент триумфа трусит от сознания своей внутренней неполноценности, от, быть может, даже стихийного ощущения, что он занимает не свое, чужое место.

Следует сказать, что в процесс поиска истины в произведениях Шамякина так или иначе втянуты все персонажи. И, пожалуй, не меньшую роль в этом процессе играют те, кто участвует в нем негативно, как, например, Гукан в романе «Сердце на ладони» или секретарь горкома Игнатович в «Атлантах и кариатидах». Писатель показывает людей разных профессий, но его интересуют, естественно, не деловые качества героев сами по себе, но сопряжение (или, наоборот, конфликт, разъятие) нравственно-индивидуальной и, как сейчас принято говорить, производственной ипостасей личности. В романе «Атланты и кариатиды» изображены два типа партийного руководителя — Сосновский, человек масштабного, государственного видения, и Игнатович

— человек узко-прагматических воззрений. Образ Игнатовича не однозначен, по-своему он даже драматичен, как и образ Гукана. Субъективно честный, Игнатович объективно оказывается честным из трусости. Неспособный на риск, на дерзкий эксперимент, боящийся новых, не апробированных в высших инстанциях решений, Игнатович показан автором как человек несостоятельный. Создав этот образ, писатель раскрыл определенные явления в нашей действительности и вынес им свой нравственный приговор. Приговор, вынесенный Игнатовичу как не единичному, а социальному явлению, нелицеприятен и бескомпромиссен. Это свидетельствует о том, что писатель связывает свои надежды на общественный прогресс с людьми талантливыми, активными, внутренне раскованными, не страшащимися заблуждений, ошибок и даже падений.

Механистичность, автоматизм мышления страшны, они разъедают не только отдельного человека, но подрывают устои самого общества. Угроза нивелировки личности почувствована Шамякиным остро и точно. Может быть, именно эта опасность заставила писателя в век научно-технической революции со всеми его достоинствами и издержками искать свой идеал в натурах необычных, ярких, одаренных.

Казалось бы, нет никакого сходства между двумя произведениями И. Шамякина, помещенными в этой книге. Разное время, разные обстоятельства, герои из разных социальных слоев. И, однако, мне кажется, есть нечто общее между Максимом Карначом и Ольгой Авсюк, героиней повести «Торговка и поэт». Непосредственность души, стихийность жеста и поступка, внутренняя освобожденность от среднеарифметического регламента поведения. На первый взгляд, все в Ольге предельно ясно и просто. Торговкой была ее мать, известная всему Минску предприимчивая Леновичиха, торговкой стала дочь и легко внушила себе, что торговцам все равно, в чьих руках власть.

Начинается Великая Отечественная война. Как «кошка», как «волчица», мечется Ольга по пустынному Минску, оставленному без властей (свои уже ушли, а немцы еще не вошли в город), в поисках продуктов, хлеба, вещей. Вот она — в числе грабителей продовольственного магазина, вот — сгибаясь под непомерной тяжестью, тащит мешок с хлебом, вот мародерствует (иначе не назовешь) в оставленной беженцами квартире. Но пройдет несколько месяцев, и в феврале 1942 года Ольга поведет полицая Друтьку в партизанский отряд, и по дороге тот покажет немцам награбленное имущество. Из его мешка «высыпались детские штанишки, рубашечки, кофточки, чулочки, туфельки, много туфелек, пар, может, двадцать, самых разных — белых, красных, черных, со стоптанными каблучками, облупленными носочками...» И она швырнет в него единственную гранату, которую припасла себе, не понимая для чего. Можно сказать наверняка — не покажи полицейский Друтька содержимого своего мешка, и, глядишь, довела бы его Ольга благополучно до партизанской зоны и сдала бы в руки законного суда, и сама бы осталась жива. Более рациональный человек в такой бы ситуации стиснут зубы и промолчал, переждал, чтобы потом расквитаться с врагом, ведь положение отнюдь не безвыходное. Но не такова Ольга. Не случайны эти слова: «Не было уже силы, которая остановила бы ее». Кто знает, что ощутила она в эти последние мгновения своей жизни — увидела пухлые щечки, ручки, ножки своей маленькой дочери, а может — и ту плотину, что строили дети на одной из пустынных улиц Минска. Но очевидно одно — Ольга не думала погибать, она не шла сознательно на подвиг. Ольга погибла во имя того, чтобы не остановилась жизнь, и в финале повести образ «торговки» поднимается Иваном Шамякиным до символического обобщения: «Она собрала последние силы и попробовала встать. Но тогда... серое облачное небо сделалось кроваво-красным и вдруг обрушилось — все огромное небо — на нее одну...»

Вот так же несколько месяцев назад на нее одну обрушилась война. Ольге двадцать лет, отец и мать

умерли, муж и брат на фронте, второй брат — совсем чужой человек. И Ольга спасает себя и дочь, как может, как научила ее в свое время мать. «Эта животная жажда самоспасения в человеке — ужасна», — говорил Достоевский. И Шамякин не боится показать Ольгу отталкивающей.

Кто же такая Ольга? Ведь она и торговка не из рядовых. Она и торговала, и жила с азартом, с выдумкой. Личность незаурядная, но анархическая, стихийная, она направила свои способности в узкое русло приобретательства. Конечно, она училась в советской школе, она родилась и выросла при Советской власти, но ее, Ольгу Леновичиху, никак нельзя было причислить к передовой довоенной молодежи. Нет, она была как раз в самых последних ее рядах. Были и такие. Но и они оставались неотъемлемой частью народа. У таких, как Ольга, убеждения не были четко сформулированы, однако было в ней пусть неосознанное, но верное ощущение социального добра и зла.

Ненависть к оккупантам у Ольги органична, она возникает сразу же, как только впервые Ольга увидела одного из новых «хозяев» на рынке. Ольга — торговка, приобретательница, но она и труженица. А у тех, кто трудится до седьмого пота, есть врожденное чувство справедливости, ненависть к тем, кто стремится забрать то, что тебе так нелегко досталось.

На первый взгляд кажется, что материал повести дает возможность разговора об эволюции героини. Действительно, как будто Ольга меняется, растет, становится более сознательной. Но дело тут не в эволюции характера Ольги, а в той борьбе противоположных начал в душе героини, которая и есть основа этого характера. Ольга иррациональна по сути своей, ею руководит не разум, а инстинкт. В ней, как в самой жизни, все перемешано — и хорошее, и плохое, и правда, и ложь, и добро, и зло. Все в этом мире действует на Ольгу опосредствованно, не через разум, а прямо в сердце, наповал. Там, где срабатывает

инстинкт самосохранения, она еще бессознательно ищет выгоду для себя, но в каких-то самых главных проявлениях жизни Ольга способна столь же бескорыстно забыть о себе, сколь корыстно, но тоже неосознанно она думала о своей выгоде минуту назад. Так случилось в лагере для военнопленных. Только что Ольга накричала на Лену Боровскую, решила идти назад, в Минск, но вот она увидела страшную картину, и ей захотелось непременно спасти хоть одного из этих несчастных. Так неосознанно а стихийно вспыхнуло в ней и чувство сострадания к Олесю, самому слабому, самому бессильному из тех, кого она увидела в лагере. С замиранием сердца она слушает стихи, которые ей читает Олесь, а на другой день — она вновь Леновичиха, «волчица».

Писатель ничего не скрывает в своей героине — ни хорошего, ни плохого. Эгоизм и жажда справедливости борются в ее душе, и побеждает последнее. И щедрость, и расчетливость у Ольги — всегда неожиданны, экспромтны. Сегодня она, испуганная ночным вторжением немецких солдат, может обругать Олеся «большевистским выродком», а спустя несколько дней согласится стать партизанской связной. И ведут Ольгу по этому пути не ее убеждения, а горячее, органично, стихийно, где то в самой последней глубине сердца возникающее сострадание к человеку.

Ольга в начале повести предстает перед нами как существо сильное, но связанное бесчисленными путами эгоизма и просто безотчетной жажды выжить. Но как свойственна человеку любовь к самому себе, так свойственно ему и стремление к истине. Оказавшись лицом к лицу с войной, став свидетельницей гибели сотен безвинных людей, Ольга освобождает себя из плена своего эгоизма, очищается. Короче говоря, становится самой собой — человеком.

А кто же в повести «поэт»? Олесь? В какой-то степени — да. Но, думается, это понятие «поэт» в повести намного шире: не случайно, видимо, характер Олеся очерчен писателем несколько схематично. Поэзией

овеяны и образы подпольщиков: Евсея, его жены Янины, Захара Петровича. Она, поэзия, явлена в повести как некая возвышенная субстанция, с которой Ольга соприкоснулась именно в тот момент жизни, когда темная душа ее так нуждалась в духовном насыщении. События войны, неимоверные страдания, обрушившиеся на людей, требовали какого-то нового, неведомого доселе Ольге объяснения, они не вмещались в рамки привычной ей материальной, практической причинно-следственной связи. Именно сейчас она не умом, а всем своим существом поняла, что, кроме идеала сытости, существует какой-то иной идеал, который не съешь и не наденешь на себя, но без представления о котором не ответишь на простой, казалось бы, вопрос: «За что погибают люди, за что убивают детей? Почему на твоей земле бесчинствуют иноземцы?»

Повесть «Торговка и поэт» — о войне, но не только о войне, она еще и о том, как прозревает человек, познавший подлинную духовность. Повесть многогранна и многозначна. Рассказывающая о событиях войны, она обращена в современность. И образ ее героини современен так же, как образы героев «Атлантов и кариатид». И в этой повести, как и во всех своих предыдущих произведениях, писатель создает характеры яркие, крупные, органичные.

Более тридцати лет работает в литературе народный писатель Белоруссии Иван Шамякин. Созданы десятки романов, повестей, рассказов, пьес, которые в совокупности составляют художественный очерк жизни советского общества середины XX века.

***Г. Егоренкова***

1. Стихи выдающегося белорусского поэта Максима Богдановича (1891—1917 гг.).

2. Строка стихотворения Янки Купалы

3. Стихи Максима Богдановича.

4. Стихи Максима Богдановича.

5. Бульбовка — самогон из картофеля.

Падрыхтаванае на падставе: Иван Шамякин, Атланты и кариатиды. — Москва: Известия, 1978, Библиотека "Дружбы народов"

Новый роман писателя — «Атланты и кариатиды» — посвящен людям, строящим новый, социалистический город. Судьба главного архитектора города Максима Карнача, его труд, семейная жизнь, морально-этические проблемы, которые ему приходится решать, и составляют сюжетную основу романа. В издание также вошла повесть "Торговка и поэт".

**Copyright © 2015 by Kamunikat.org - ePub**